

Безумная
Грета
ПОВЕСТЬ

— Кто-кто?! Питер Брейгель Старший? Фландрия, XVI век? О, Господи! Этот-то еще тут при чем? Сегодня, сейчас, у нас? — спросит иной мой читатель.

— При чем, дорогой читатель! — отвечу я ему. — Уверю тебя: очень при чем. Может быть, не меньше при чем, чем ты и я.

I

Неисповедимы пути Господни! И кто же мог знать, что именно в этот безмятежный июньский день его недолгому, с таким трудом отвоеванному у жизни счастью придет, по сути дела, конец? Именно в этот день, когда все вокруг дышало покоем, и сияло солнце, и стояла блаженная тишина, нарушаемая лишь гудением пчел да свистом стрижей, носившихся взад-вперед над старыми вязами, над ровной гладью заросшего ряской деревенского пруда, то и дело взвиваясь ввысь и стремглав, камнем, падая оттуда вниз.

В то утро Питер Брейгель, сорокалетний график и живописец, известный в Брюгге, и в Антверпене, и в Брюсселе, и в иных многих городах и местечках Фландрии и славного Брабанта, сидел в одиночестве за кружкой пива в придорожной таверне, менее чем в двух лье от собственного дома, и смотрел в распахнутое окно. Улица была пуста. Сенокос только третьего дня как начался, и вся деревня — и стар, и млад — была на ближнем лугу, по другую сторону канала, там, где стояли два неподвижные в эту безветренную пору ветряка.

Разморенный тишиной, солнцем и густым, приятно горьковатым на вкус пивом, Брейгель лениво, из-под припущенных век следил, как копошились в придорожной пыли хохлатые куры, призывным квохтаньем скликая к себе упрямо разбрёдавшихся в стороны цыплят, как нежились в лужах, похрюкивая и переваливаясь с боку на бок, длинноногие, похожие на собак, деревенские свиньи, и сладкая дремота заволакивала ему глаза, и ресницы его слипались, и голова сама собой все ниже и ниже свешивалась на грудь... Наверное, это и были теперь лучшие часы в его жизни: никуда не торопиться, ни о чем не думать, а про-

сто сидеть и ждать, когда в ближайшей приходской церкви ударит колокол, отбивая полдень, и можно будет медленно, потягиваясь, встать и, собрав свою котомочку, и столь же медленно, не оглядываясь, тронуться по дороге на другой, дальний конец деревни, где на отшибе, за дубовой рощицей, стоял старый полуразвалившийся амбар и где, он знал, его уже ждут.

О, то были воистину счастливые часы! Где-то там, за остроконечными деревенскими крышами, за синей кромкой леса, темневшего вдали, шумел неугомонный, вечно занятый, вечно озабоченный Брюссель, и стучали груженные повозки по его мощеным брусчаткой улицам, и кричали, надрывая глотки, уличные торговцы, норовя всучить каждому встречному свой товар, и скрипели лебедки, втаскивая кирпич и раствор на торчащие повсюду строительные леса, и стояла кругом едкая пыль, от которой чесались глаза и першило в горле. И опять что-то выкликал на Ратушной площади глашатай, и гремели трубы, и блистали на солнце стальные доспехи городской стражи, расставленной на всех перекрестках по случаю пребывания в городе самого герцога Альбы, а вместе с ним и всей многочисленной его свиты — всех этих спесивых испанских грандов, бесцеремонно, по праву сильного, вселившихся в лучшие в городе дома. И его, Брейгеля, не миновала эта беда, и у них в доме поселился, да еще с челядью, один такой расфранченный щеголь, наотрез отказывавшийся понимать хоть слово по-фламандски и объяснявшийся с хозяевами лишь знаками, либо через своих слуг. А там... А там еще и нечесанная, неприбранная до полудня жена, и двое сорванцов-сыновей, и дочь в пеленках, от крика которой можно было, казалось, сойти с ума, и толстая, неповоротливая кухарка, у которой всегда все подгорало, и грязные, вихрастые, вечно дерущиеся между собой ученики в его мастерской, и всегда всем недовольные заказчики, и кредиторы, и сборщик налогов, и постоянный страх упустить выгодный заказ, и болезни, и приближающаяся старость, и черт его знает, что еще.

А здесь все было просто, все ясно: блики солнца на потолке, на низких прокопченных балках, длинный ряд бутылок за стойкой в углу, а прямо перед ним на столе — большая глиняная кружка, и по стенкам ее медленно сползает вниз пышная, как волансьенские кружева, пивная пена, а по поверхности стола важно расхаживает толстая нахальная муха, и отогнать ее нет никакой возможности, ее можно

только прихлопнуть рукой, а под ладонью, под пальцами его, уже слегка тронутыми подагрой, сам собой скатывается и раскатывается мягкий, как воск, хлебный мякиш, и любопытно было смотреть, что же может в конце концов получиться из него — то голова турка в тюрбане, то нечто похожее на папскую тиару, а то, если еще смочить немного этот мякиш пивом, можно скатать идеально круглый шар, что-то вроде маленького глобуса, как тот, который он видел еще в Антверпене, у своего друга картографа Абрахама Ортелиуса. Как он теперь, кстати, там без него, божий человек? Жив или уже нет?

Между прочим, именно он, Ортелиус, и пристрастил его к этим внезапным побегам вон из города, от шума его и суеты. Нет, недалеко, ненадолго, может быть даже, всего лишь в ближайший деревенский трактир за городской стеной — но вон! Вон! Глотнуть глоток свободы, отдышаться, расправить плечи, а там... А там пусть идет оно все, как идет и как оно шло всегда.

Но если это был не сухой педант Ортелиус, для которого единственной радостью в жизни было рассуждать о всяких высоких материях, только бы никто не мешал, а другой его друг по Антверпену, преуспевающий негодичант Ганс Франкерт, то дело, конечно, не ограничивалось одной-другой кружкой пива в придорожной таверне да разговорами обо всем и ни о чем. О, если это был не Ортелиус, если это был добряк и весельчак Франкерт, тогда каждый раз это было событие, приключение, авантюра! Блистательная, неожиданная авантюра, в которой никогда нельзя было знать заранее, каким будет даже само ее начало, не говоря уже о конце.

Как часто там, в Антверпене, встав рано поутру, переоделись они с Гансом в платье мелких торговцев, или странствующих нотариусов, или в ветхие, прохудившиеся во многих местах плащи паломников по святым местам и, подкрепив себя на дорогу глотком-другим доброго вина, отправлялись по непроснувшим еще улицам к городским воротам, а оттуда — куда глаза глядят, иначе говоря, куда направит их стопы всемогущий и капризный Господин Случай. Бывало, целыми днями бродили они так по окрестным селам и городкам, болтая и прохлаждаясь на берегах каналов, в зеленых рощицах, в убогих деревенских кабаках, и заговаривая с каждым встречным, и заигрывая с местными красотками, и мешаясь повсюду с многоголосой, разноликой толпой — на ярмарках, на площадях, в церквях и часовнях, на похоронах,

на крестинах, на свадьбах, словом, везде, где были люди, была толпа и где никого нimalo не интересовало, кто они, откуда и куда они идут. Фламандский крестьянин испокон веков отличался простодушием: назвался дальним родственником, подарил какую-нибудь безделицу — садись, гостем будешь, дочь замуж выдаем, всех, всю округу приглашаем, а уж родню-то и сам Бог велел...

А в какие только любовные истории они с ним ни попадали — где с продажными девицами, а где и с почтенными деревенскими матронами, а где и с их падкими на лесть, да на озорное слово, да на дешевенькие сережки либо перстеньки дочерьми! А сколько денег они выиграли и проиграли в кости где-нибудь в задней комнате очередной таверны — Матерь Божия! А сколько товару разного перещупали они своими руками на ярмарках, каких только песен ни слышали, каких танцев ни видели, каких веселых уличных шествий, и гуляний, и свирепых, без удержу и пощады пьяных драк! А сколько кровавых, леденящих душу смертей довелось им увидеть своими глазами на виселице, на колесе, на костре — не перечесть! Ни сна, ни отдыха не знало испанское Правосудие, и не зря вкушала свой нелегкий хлеб святая инквизиция: каждый день где-нибудь кого-нибудь казнили при многолюдном стечении народном, и виселица либо колесо на высоком столбе давно уже стали непременным украшением каждой фламандской деревушки или городка.

И даже здесь, в Брюсселе, спустя годы, Питер Брейгель, человек уже немолодой, обремененный славой и семейными заботами, с явно обозначившейся сединой в бороде и постоянно сосущей болью где-то там под ложечкой, заглушить которую могла только добрая выпивка, а иначе ее, проклятую, ничто не брало — даже и здесь он, почтенный горожанин и старшина гильдии живописцев, продолжал, как мальчишка, то и дело удирать из дому неизвестно насколько и неизвестно куда, что каждый раз приводило в отчаяние и его домашних, и заказчиков, и его многочисленных учеников. Но теперь он удирал один: новых друзей после женитьбы и переселения сюда, в Брюссель, у него так и не завелось. Впрочем, об этом, наверное, не стоило бы даже и говорить: а у кого вообще они заводятся после того, как человек переступил свой сорокалетний рубеж?

Однако с год примерно назад все эти его побеги из дому и блуждания по окрестностям потеряли вдруг в одночасье всякую прелесть случайности и приобрели наконец

цель. Да, цель! И такую, что все его существо от головы до пят вздрагивало, когда эта цель всплывала у него перед глазами, и сердце начинало колотиться так, что, казалось, еще миг, и оно выпрыгнет из груди, и руки становились влажными, а глаза начинали блестеть, как в лихорадке — угрюмым, темным блеском ожидания и нетерпения, когда человека не удержать, когда он сметает все на своем пути, если какие-то силы осмелятся вдруг ему на этом пути помешать.

О, наверное, это уже была старость! Но если и старость, то такая, о которой каждый в его возрасте мог лишь мечтать — пылкая, грубая, могучая старость, старость Микельанджело, старость влюбленного в лесную нимфу кентавра с его лохматой головой, огромными, налитыми силой плечами и крутым, дрожащим от возбуждения конским крупом. Только нимфа его, Брейгеля, была не шаловливым, гибким лесным созданием, убегавшим от своего неуклюжего преследователя — нет, она была проста, здорова и крепка, как этот грубо сработанный деревенский комод. Но что же еще и было нужно ему — крестьянскому сыну, рожденному в затерявшейся среди холмов и полей Брабанта маленькой деревушке неподалеку от Бреды? Ему, так и оставшемуся в душе крестьянином, несмотря на все, чего он своим усердием и талантом достиг потом?

В тот жаркий июльский день, год назад, когда он впервые встретил свою нимфу, она, в белом чепчике и венке из васильков на голове, сидела на обочине дороги и жевала какой-то стебелек. Сидела она, судя по всему, не без дела: перед ней на лугу мирно пощипывали травку овцы, а рядом с ней лежала длинная клюка, которой в брабантских деревнях обычно погоняют скот. Глубокий вырез холщовой рубахи и туго стянутый на груди, едва не лопающийся изнутри лиф свидетельствовали о том, что возраст невинных младенческих снов для этой девушки, несомненно, уже прошел.

Питер еще было хотел пройти мимо, но любопытство, вспыхнувшее в ее глазах при виде явно чужого в этих местах чернобородого, статного мужчины в одежде торговца, да еще с каким-то коробом за плечами — а что в нем? — остановило его.

— Здравствуй, красавица! Ты чья? — спросил он, присаживаясь к ней и стаскивая с плеча этот короб.

— Здешняя. Из этой деревни. Дочь старого Йоста.

— А зовут тебя как?

— Катарина.
— А меня Питер.
— Ты из города?
— Из города.
— Торгуешь?
— Торгую. Хожу по деревням. Увижу вот такую красавицу, как ты — все ей продам! А то и даром отдам.
— А в коробе у тебя что?
— Любопытно, да? Ишь, глазки-то разгорелись!
— Ну, а как же! Покажи. Может, и я что-нибудь куплю.
— Найди укромное местечко — покажу.
— А здесь тебе чем не место?
— Здесь люди ходят. Увидят. Отцу твоему скажут. А он меня прибьет.

— Нет, он не прибьет. Он добрый. А братья, это правда, если увидят — могут и поколотить... Стог сена вон видишь? Высокий? Пойдем туда. Там с дороги не видно...

В этом-то лишь недавно сметанном стогу, а вернее, в ямке, наспех, охапка за охапкой выдранной ими у него сбоку, зарывшись с головой в душистое, еще не потерявшее свою свежесть сено, царапая руки и ноги и все другое о какие-то колючки и сухие обломки стебельков, кашляя и отплевываясь от сенной трухи, от травинки и листиков и мелких букашек, забивавшихся в рот, и узнал он ту, что стала его счастьем, его единственной радостью на многие дни, и недели, и месяцы потом. Счастьем? Да, не усмехайтесь — он был счастлив: счастлив ее молодым, плотно сбитым телом, запахом молока от ее кожи, ее белыми, широко раскинутыми ногами, ее жадно открытым ртом, ее руками, грубовато и требовательно тянувшими его к себе, ее смехом, ее простотой, ее незатейливым разговором — впервые в его жизни он был счастлив всем и ничего другого не хотел.

— Сколько тебе лет, Катарина? — уже успокоенный, отвалившись, спросил он тогда ее, лежа с ней рядом и наблюдая, с какой простодушной радостью перебирала она в руках то, что он — волшебник! — вывалил из своего короба ей в колени: какие-то ленточки, зеркальца, черепаховый гребень, ниточку стеклянных бус, нанизанных вперемешку с красными кораллами...

— Восемнадцать будет.
— А чего ж замуж не идешь?
— Тебя ждала. Видишь — дождалась.

— Нет, мне нельзя на тебе жениться! У меня двое сыно-
вей. И дочь.

— Ну, коли не женишься — я подожду, подожду, да за
другого замуж пойду... А ты ко мне еще придешь?

— Приду. Завтра приду. Ты будешь меня ждать?

— Буду.

— А где?

— А прямо сюда, к стогу, и приходи...

Пока было лето, был стог, был лес, были густые зарос-
ли лозинника на берегу канала. Потом, когда пошли
дожди, убежищем им служил старый полуразвалившийся
амбар на краю деревни, давно уже, видно, брошенный его
хозяевами. А когда пришла зима и выпал снег, их приюти-
ла у себя одна старая беззубая ведьма, которая доживала
свой век в нищете и полном одиночестве и за те полфлори-
на, что он оставлял ей в каждое свое посещение, была гото-
ва держать язык за зубами хоть до гробовой доски.

Конечно, может, кто в деревне и знал про их встречи.
Но ни отцу, ни братьям ее, судя по всему, до сих пор про их
грехи не было ничего известно, и всякие меры предосто-
рожности Питер принимал уже больше по привычке, на
всякий случай, как-то незаметно для себя уверовав, что
встречи эти ниспосланы ему свыше, Судьбой, а раз так, то
она уже сама как-нибудь позаботится о том, чтобы охра-
нить их и от дурного глаза, и от злого языка. А может, в
этой деревне, через которую проходила дорога на Брюс-
сель, так привыкли видать каждый день множество разных
прохожих — торговцев, крестьян, воинских людей, а то и
просто бродяг — что никто здесь и не приметил его. А если
и приметил, так что ж: деревня была большая, людная,
со своей церковью, лавками, со своей таверной у дороги —
мало ли к кому в ней мог ходить этот весьма уже не
молодой, скромно одетый и скромно державшийся госпо-
дин?

А, скорее бы полдень! Как медленно движется время, и
как томительно ждать, даже если знаешь, что стоит
ждать... Но уже скоро, наверное, ударит колокол на коло-
кольне. И косцы уже, наверное, бросили косить и сидят
где-нибудь в холодке, отбивают, правят свои косы, и жены
их подгребают граблями последние ряды к копешкам, а сы-
новья на возах уминают поплотнее последние охапки сена,
поданные им снизу на длинных вилах. Скоро обед! А после
обеда все вздремнут часок-другой, здесь же на лугу, кого
где свалил сон. И никто не заметит, что нет среди них

дочки старого Йоста, и не хватятся ее, а когда все проснется и начнется опять работа, она, уже как ни в чем ни бывало, будет тут как тут, и будет опять работать, опять подавать вместе с братом на воз сено, захватывая разом на вилы чуть не целую копну, а другой брат на возу будет принимать, и будет хвалить ее: о, Катарина крепкая девушка, и работать она умеет не хуже других...

Медленно течет время! И текут его раздумья, и течет, стекает пивная пена по стенкам очередной кружки, стоящей перед ним... Но уже давно, нарастая, какой-то странный, непривычный стук с проходящей под окном дороги раздается у него в ушах: как будто сразу несколько палок вразной стучат по высохшей под июньским солнцем, утрамбованной многими ногами земле. Потом к стуку примешивается чьето невнятное бормотанье и неуверенное, нетвердое шарканье ног, потом заунывный, всхлипывающий голос затягивает псалом, его подхватывают другие голоса, и, выглянув в окно, Питер видит, что по дороге мимо трактира бредет целая процессия слепцов, ведомая крепким, осанистым мужчиной лет пятидесяти в побуревшей от старости шляпе и с суковатой палкой в руках.

Вскинув высоко вверх крутой подбородок и свои пустые глазницы, он осторожно, легким постукиванием ощупывал этой палкой путь перед собой, а другие слепцы следовали за ним шаг в шаг, положив друг другу руку на плечо или ухватившись за палку идущего впереди. Одежда их была бедна и покрыта пылью, башмаки в грязи, чулки порваны, и на каждом, несмотря на июньскую жару, был надет ветхий, прожженный во многих местах плащ — видно, шли они уже давно, и путь им предстоял еще не близкий.

Куда они бредут? И кто они? И за какой такой грех, за какую тяжкую вину так жестоко покарал их Господь? За что Он, Всемогущий, обезглазил их, за что погасил для них Свой Божественный свет, еще при жизни этих несчастных погрузив их в вечный мрак? И зачем, с какой неведомой целью пустил Он быть в сотворенном Им мире этому уродству? Неужто лишь за тем, чтобы при виде их дрогнуло и сжалось от страха сердце у всякого, кто минуту еще назад, до встречи с ними, был безмятежен и счастлив? И кто позволил себе, безумный, хоть на мгновение забыть, как нелепа и ненадежна человеческая жизнь?

А лица! Какие лица... О, Господи! Беспомощность и вместе с тем высокомерие обладателей некоей высшей тайны написаны на этих лицах, и мольба о людском снис-

хождении, и злоба ко всем, кто не они, и робость, и жадность, и страдание, и какая-то нездешняя печаль — печаль, что выше добра и зла. Исхудавшие, изможденные лица, посиневшие губы, ощеренные рты... И эти страшные, пустые глазницы — как черные зияющие дыры в черепе мертвеца! А еще покорность — на всех лицах, в каждом жесте, в каждой согбенной фигуре, встроившейся в эту живую цепь: куда их ведет их предводитель, их поводырь — значит, туда и должно им идти, ибо потому он и предводитель, потому он и поводырь, что ему, тоже незрячему, открыл Господь пути свои. И хотя и раздражают всех его властные замашки, его уверенный, непререкаемый тон, без него было бы еще хуже в этой кромешной тьме, в этом безжалостном, враждебном мире, полном ям и колдобин, и собак, и бессердечных, злых мальчишек, повсюду осыпающих их градом насмешек и камней.

Питер хотел уж было отвести глаза от столь печального зрелища, но слепцы вдруг остановились и, перестав гнусавить свои псалмы, подняли между собой какой-то спор. Видимо, это был спор о дороге: кто-то из них, все еще строптивый, все еще недоломанный до конца, внезапно вдруг засомневался, туда ли они идут. Сгрудившись в кучу, они сердито тыкали палками в разные стороны и кричали друг на друга плаксивыми, раздраженными голосами. Строй их перемешался, кто был сзади, оказался впереди, а шедшие впереди — сзади, они топтались, бранились, кружились на месте, хватались за грудки, доказывая каждый свою правоту, и, если бы не грозный окрик поводыря и нетерпеливый, повелительный стук его палки о землю, они, наверное, так бы до самой ночи и не сдвинулись с места, продолжая свой бестолковый и бесполезный спор.

Но поводырь их, видно, недаром был поводырь: влепив одному затрещину, а другого стеганув палкой вдоль хребта, он, наконец, восстановил строй, и вся процессия вновь тронулась в путь. Поводырь, конечно, опять был впереди, но теперь шаги его, явно взволнованного и раздраженного этим маленьким бунтом, были более решительны, более напористы, чем прежде, и палка его уже не так осторожно ощупывала землю вокруг себя.

И, может быть, именно поэтому им и не удалось далеко уйти. Свой спор они затеяли как раз там, где в нескольких локтях от дороги лежал крохотный, затянутый зеленью пруд, куда стекались или сносились нечистоты со всей деревни. В этом гвалте, препирательствах, в этом кружении

на месте, перемешавшем строй слепцов, и зрячему-то немудрено было потерять голову. А поводырь, прости его Господи, ведь тоже был слепой!

Край дороги круто нависал над прудом: нужно было ошибиться всего на полшага, чтобы обрушиться с дороги вниз, прямо в его стоячую, зловонную воду. И слепой поводырь эти полшага сделал. Питер и глазом не успел моргнуть, как фигура поводыря исчезла с дороги, за ним последовал другой слепец, державшийся за его плечо, за ним еще один, за ним еще — и внезапно дорога оказалась пуста, как будто и не было никого на ней всего лишь мгновение назад.

Проклятья, стоны, вопли, жалобные причитанья, площадная брань взорвали сонную полуденную тишину. А сверху к ним еще добавилось громкое карканье рассерженного воронья, вспугнутого со своих гнезд в старых ветлах, окружавших пруд. Конечно, деревенский прудишко был слишком мелок, чтобы в нем можно было утонуть. Но грязи по пояс, но гнилой воды и жестоких синяков, а может, и повывихнутых рук и ног на долю бедных слепцов досталось, надо думать, немало.

Ударил церковный колокол, возвещая, наконец, полдень. Питер не стал дожидаться, пока слепцы опять выберутся на дорогу. Вздохнув, он встал из-за стола и, расплатившись, поплелся прочь. «Камо грядеши, человек? — лениво, с брезгливым состраданием думал он, бредя вдоль деревенской улицы. — И кто ведет тебя? И почему так она устроена, жизнь, что ни стадо овец, ни стадо людей не могут быть без вождя, даже если этот вождь столь же слеп, как и все?»

А Катарина, как он и знал, уже ждала его! Бог с ними, со слепцами! Не они его жизнь. А жизнь его и надежда его здесь, в этой прохладной полутьме старого амбара, на охапке прошлогодней соломы, служившей им подстилкой, среди паутины, солнечных бликов, и каких-то бочек, и остатков полусгнившей упряжи, сваленной в углу — здесь, где сжимая в объятьях ее тугое тело, зарываясь лицом в ее льняные волосы и медленно, сладострастно погружаясь в этот омут, всего лишь через мгновение — но мгновение, равное вечности! — он вынырнет обновленный и возрожденный, как Антей, прикоснувшийся к земле. А как податлива она! Как бесстыдно белы и влажны от пота ее бедра, и как тесно сжимает она руками его ягодицы, чтобы впихнуть его еще больше, еще глубже в себя... О, если бы можно

было, он каждый день проходил бы, нет, пробежал бы эти два лье от города сюда и два лье обратно! При любой жаре, при любом дожде и снеге, только чтобы увидеть ее здесь в амбаре, на соломе, улыбающуюся, протягивающую к нему руки, ждущую его...

— Питер, знаешь... А меня просватали, — вдруг сказала она, когда все было уже кончено.

— К-как просватали? Когда? — пораженный, только и сумел выдать из себя Питер.

— А вчера! — отряхиваясь и приводя в порядок множество своих юбок, ответила она. Глаза ее были спокойны, голос безмятежен, а на лице блуждала какая-то странная, далекая от него улыбка, которой он прежде не видел у нее.

— И ты молчишь?! За кого?

— А за одного парня вон из той деревни, на той стороне канала. Ты не знаешь его... Богатая семья! Большая. Хорошо живут. Своя мельница, и коровы у них лучше всех в округе. Я таких и не видала ни у кого...

— А когда свадьба? —

— После жатвы. Отец сказал, ячмень уберем — тогда можно и свадьбу играть.

— А как же я?

— Ты? О, Питер, так еще до свадьбы долго! До нее дожить еще надо. Ты еще успеешь разлюбить меня... А ты на свадьбу ко мне придешь?

— А ты меня позовешь?

— Ты сам приходи, Питер, без приглашения! Подаришь мне что-нибудь, а нашим скажешь, что ты родня... А ты мне подаришь что-нибудь, да? Смотри, не скупись! На свадьбу всегда хорошие подарки дарят. Дорогие...

— Ты его любишь?

— Кого?

— Да жениха своего! Кого-кого... Кого ж еще?

— Не знаю. Может, и полюблю. Потом.

— Так что, мне больше не приходится?

— Что ты, Питер! Ты что? Завтра приходи. Я буду ждать.

— Завтра не смогу.

— Ну, послезавтра! Придешь? Может, ты обиделся на меня? Ты не надо, не обижайся... Я молодая, Питер. А ты старый. Отец говорит, не век же мне в девках сидеть...

Июньский зной все ниже, все тяжелее нависал над городом, а раскаленное добела солнце все нестерпимее било по глазам, отражаясь в распахнутых настезь окнах, когда

Питер, еле передвигая ноги, вернулся, наконец, к себе домой, в свою мастерскую. На этот раз дорога от того развалившегося амбара до дома показалась ему вечностью: он то и дело присаживался на обочине ее, вытирая платком стекавший из-под шляпы пот, сидел, вздыхал, качал головою, снова и снова повторяя про себя: «Ты, Питер, старый. Ты не надо, не обижайся...» Да как он мог обижаться на тебя, дитя? Это было бы все равно, что обижаться на вон того воробья, радостно барахтающегося в пыли, или на ласточку, стрелой взмывающую в небо, или на этот молоденький, крепкий, в редкой еще листве дубок, что сам собой вырос при дороге, не сейчас, а когда-нибудь потом, в будущем, обещая бредущему мимо путнику прохладу и тень.

Что тебе, простодушной, до него, до Питера Брейгеля — стареющего, мучимого постоянными болями под ложечкой господина, нежданно-негаданно вклинившегося в твою только начинающуюся жизнь? Спасибо этому господину за любовь, за ласку, спасибо за подарки, но кто же будет рожать детей, кто будет вести хозяйство в том добротном, просторном доме по другую сторону канала, если ты и дальше будешь валяться с этим господином по амбарам да по кустам? Господин этот как явился, неизвестно откуда, так и исчезнет, неизвестно куда — да если и прямо на тот свет, что за беда? — а у тебя еще много дел впереди. Ну, а уж коли так получилось, коли согрешила ты, Катарина, малость с ним, так деревенский ваш священник, надо думать, отмолит этот грех у Господа, благо и грех-то твой невелик — какой это по нынешним временам грех? А муж... Что ж, муж он и есть муж. На то он и муж, чтобы никогда не знать и не узнать ни о чем.

Ну, а ты? Ты, живописец и график Питер Брейгель, отец троих детей, владелец собственного дома и мастерской в Брюсселе, старшина гильдии, член городского магистрата, друг и приятель стольких именитых мужей в славном королевстве Испании и Нидерландов, и в Риме, и в Лионе, и во Франкфурте, и в иных многих странах и городах? Ты, мыслитель и философ, историк и богослов, знаток механики, и архитектуры, и алхимии, и воинского, и морского дела, и множества других полезных ремесел и наук? Ты, бродяга и мистификатор, волокита и игрок, и праздный гуляка на многолюдных ярмарках и площадях? Ты, потративший столько сил и старания, чтобы проникнуть в человеческую суть, и не нашедший ничего лучшего на

склоне лет, кроме простой деревенский девахи с крепким задом и румянными щеками? Как же будешь теперь ты?

II

Как? А никак. Катарина была права: до свадьбы надо было еще дожить. Что толку терзаться и мучиться сейчас? Ничего не поделаешь — не в его власти что-либо изменить. А когда наступит этот день — день ее свадьбы, тогда и будем думать, как же дальше жить.

Все следующее утро, до полудня, Питер Брейгель провёл, как во сне: препирался с заказчиками, отдавал привычные распоряжения по дому, бранился с кухаркой, что-то подправлял в рисунках у своих учеников, но душа его была далеко. Он, конечно, и сегодня бросил бы все и удрал без оглядки туда, куда рвалось его сердце — к ней, к Катарине, в этот полутемный амбар, на подстилку из старой соломы, к ее груди, к ее бесстыдно задранному вверх юбкам, одним словом, туда, где он только и был самим собой. Но магистрат давал в этот день торжественный обед в честь старших офицеров испанского гарнизона, ждали, что, возможно, сам герцог почтит своим присутствием сие торжество, и пропустить такое событие было в высшей степени неблагоприятно с его стороны. Отсутствие его было бы, несомненно, замечено, а в такие смутные, ненадежные времена не было ничего опаснее для мирного обывателя, пусть даже и старшины гильдии живописцев, чем любое проявление неуважения к властям.

Но уж зато на следующий день удержать его дома не смог бы, наверное, из смертных никто. Второпях он даже и палку свою забыл у себя в прихожей и вспомнил о ней лишь тогда, когда, приближаясь к заветному амбару, почувствовал, что все-таки для человека его возраста пробежать целых два лье по жаре, а потом еще прыгать с кочки на кочку по болотистому лугу, а потом пробиваться сквозь густой кустарник, скрывавший за собой амбар, было очень и очень нелегко.

Конечно же, она уже ждала его! В том же углу, на той же соломе и так же широко и призывно раскинув ноги, как и два дня назад.

— О, Питер! Как ты долго! Давай скорей...

— Подожди, золотко! Подожди. Дай отдышаться. Жарко — сил нет.

— Нет, давай! Давай сейчас. Мне нельзя больше ждать.

— А что случилось? Еще только полдень.

— Потом! Потом скажу... Ну, Питер, иди же сюда... О, Господи, какой ты неловкий! Давай я сама тебе расстегну...

Как всегда, она была рада ему, и, как всегда, губы ее были влажны, а руки крепко, по-хозяйски стискивали его спину и бока, и все-таки отчего-то он сразу ощутил, что сегодня она была не с ним, а далеко от него. Дыхание ли ее было другое? Или дрожь не так сильно, как всегда, билась ее? Или чересчур уж жадно она подгоняла его, и это была не жадность, а на самом деле просто торопливость, чтобы он поскорее добрался до конца и освободил ее? Как бы там ни было, но все на этот раз произошло необыкновенно быстро, и когда последняя, самая мучительная, но и самая желанная в любовных утехх судорога тряханула и отпустила его, Катарина тут же выскользнула из-под его довольноно-таки грузного тела и сразу принялась поправлять многочисленные свои юбки и сбившийся было набок беленький чепец на голове.

— Ну? Так куда же ты бежишь, Катарина? Почему тебе еще не побыть со мной?

— Нет, Питер! Нет. Сегодня больше нельзя! Мне надо бежать в деревню. Там у нас сегодня такое затевается?

— Да что там у вас стряслось?

— Церковь будем громить! Всей деревней. Иконы разбивать. Статуи жечь... В другую веру переходим, Питер! Все, как один...

— В какую другую?

— Будем молиться не Деве Марии, не святым угодникам, а по Книге. Так господин Мартин Лютер велит.

— По Книге?

— Ну, да! По Библии. Кто как умеет.

— А ты умеешь? Ты знаешь Книгу?

— Не, Питер! Не знаю. Знаю только «Отче наш». И как Христа распяли.

— А кто ж тебя научит? Священник?

— Нет! Священника прогоним. Безумная Грета — вот кто научит! Она знает Библию. Она все знает! Она сказала, что научит всех.

— Безумная Грета?!

— Ну, да! Разве я тебе никогда не говорила про нее? Знаешь, Питер — она ведьма! Колдунья. Она все может. Захочет — корову у тебя сглазит, и корова сдохнет. А захочет —

вылечит. Пошепчет что-то над ней, травку какую-то сожжет — и вылечит...

— Она у вас в деревне живет?

— У нас! Она старая, она давно у нас живет. Ее все тут знают.

— А почему она безумная?

— Потому что безумная! Ты бы видел ее: нечесанная, невымытая, страшная, юбки всегда рваные, на голове не поймешь что. Может и кастрюлю надеть дырявую — ей все ни почем. И босая всегда! И зимой, и летом. Куда-то все спешит, бормочет что-то себе под нос, руками машет — страх! А собаки деревенские, как увидят ее — сейчас же за ней. Куда она — туда и они... Как же не безумная? Безумная и есть! Ее все у нас боятся...

— И что, это она вас подбила — иконы разбивать?

— Она! А сказывают люди, и в других деревнях тоже так. Везде, говорят, иконы бьют. А мы-то что ж, хуже других? Ой, Питер! Я больше не могу, я побежала. Завтра приду!

— Приду.

— Приходи! Сюда же. Я тебя буду ждать...

— Постой! На надень.

— Что это? Перстенок? Это мне? Ой, Питер! Какой хорошенький! Вот радость-то...

— Надень. На левый мизинец.

— А дома я что скажу?

— А дома скажешь: шел-де старик по дороге: старый, на лешего похожий, увидел меня и подарил, сама-де не знаю, за что. Может, это волшебник какой был... И когда замуж выйдешь — носи. В память обо мне...

— Ой, Питер! Мне теперь и вовсе замуж расхотелось... Ну, ладно! Побегу. Храни тебя Дева Мария! Ты добрый, Питер. Ты будешь жить сто лет...

И она убежала, чмокнув на прощанье его в щеку. Подождав немного, Питер выбрался вслед за ней на дорогу, но сразу возвращаться в город не стал: любопытство одолело его. Всякое он в своей жизни видел, а вот как разбивают иконы и жгут статуи святых видеть еще не доводилось никогда. Только слышал про такое святотатство: говорили люди, что Господь попустил этому делу уже свершиться во многих селах и городах, и Небо не обрушилось на землю, и все сошло тем богохульникам с рук... Нет! Такое надо было увидеть своими глазами. В конце концов не каждый день целая деревня переходит в другую веру, да еще с Безумной

Гретой во главе. Ради одного этого стоило пойти туда, на деревенскую площадь, где стояла старая кирпичная церковь с колокольной и где, как было видно издали, уже толпился народ.

Напрасно, однако, Питер опасался, что появление его на площади может вызвать ненужное любопытство: вряд ли кто в этой толпе даже и заметил его, когда он, стараясь держаться поближе к домам и подальше от дороги, приблизился к церкви. Слишком возбуждены были люди, стоявшие к тому же почти все спиной к нему. И слишком напряженным было их ожидание чего-то, что должно было свершиться с минуты на минуту, чтобы обратить внимание на еще одного случайного прохожего, забредшего в их деревню. Детвора, старики, женщины в белых передниках и чепцах, их мужья с закатанными по локоть рукавами, только что, видно, побросавшие свои косы и вилы там, на лугу — все они, вытянув головы, смотрели в одну сторону, туда, где деревенская улица круто сворачивала вправо и где рядом с полуразрушенной башней, воздвигнутой здесь еще в далекие рыцарские времена, стоял когда-то, видно, богатый, но теперь уже тоже одряхлевший дом из красного кирпича.

Площадь молчала. Лишь изредка кто-нибудь из ребятишек, не выдержав ожидания, вдруг вскрикивал пронзительным детским голосом, но его сразу же одергивали стоявшие рядом отец или мать, и тревожная тишина вновь воцарялась в толпе.

Но так длилось недолго. Внезапно из-за угла того дома, куда смотрели все, раздался оглушительный стук, как будто множество колотушек вразнобой ударило в медные кастрюли и тазы. И тот час же сверху, словно в ответ на него, загудел большой колокол на колокольне, а за ним и другие колокола, но не размеренными гулкими ударами, отбившими часы, и не торжественным праздничным перезвоном, а мелким, лихорадочным дребезжаньем всех колоколов сразу, раскачиваемых без толку и ладу неумелою, да к тому же еще, видно, и слабою рукой. Толпа ахнула и задрала головы вверх: на колокольне виднелась фигурка какого-то мальчишки, повисшего на колокольных веревках и птицею летавшего на них от окна к окну. Однако рассмотреть, чей этот мальчишка был, люди не успели: из-за угла того дома на деревенскую площадь вывернула целая процессия, и все внимание толпы, понятно, обратилось на нее.

Впереди процессии, победно вскинув над собой рогатую кочергу, твердым, решительным шагом двигалось какое-то

странное чучело — может быть, и женщина, а может быть, и нет. На голове у чучела был солдатский шлем, на груди остальные латы, под латами — длинный, по щиколотку кожаный фартук, в каких обычно стоят за прилавком мясники или торговцы рыбой, а под фартуком, несмотря на жару, была надета еще шерстяная, рваная на локтях кофта. К поясу этого существа была приторочена холщевая торба с медной посудой, за пояс был заткнут длинный кухонный нож, в левой же руке оно сжимало большую сковороду и отмашисто, по-мужски, отбивало этой сковородой шаг. Худая морщинистая шея, кадык и длинный крючковатый нос чучела воинственно торчали вперед, седые патлы, выбиваясь из-под шлема, развевались на ветру, а черные босые ноги шли прямо, без разбору — по лужам ли, по твердой ли земле, распугивая во все стороны кур и раздавая налево и направо пинки нежившимся в грязи свиньям.

— Грета! Безумная Грета! — прошелестело в толпе.

Но стук и гром создавала не Грета. Шаг в шаг за нею шло десятка полтора молодцов в суконных поддевках и белых, закатанных по локоть рубахах, и каждый из этих молодцов неистово колотил чем ни попадя в поднятую над головой кастрюлю, или котелок, или медный таз. Лица их были вымазаны мелом и подмалеваны углем, из низких и плоских, как блин, шляп, достававших до ушей, торчали петушиные перья, и у каждого за поясом был топор, а у одного, коренастого и косолапого, как медведь, парня на плече даже блистала боевая секира, которую он неловко, но крепко прижимал к груди согнутым локтем. Замыкал же процессию степенный седобородый старик, торжественно вздымавший над головами шествующих высокий деревянный крест.

— Грета! Грета! Божий человек! Веди нас, веди нас за собой! С нами Бог! Долой идолов! Долой папу, долой Сатану! Свобода всем! Слава Господу нашему Иисусу Христу! — взревела толпа, когда под звон колоколов и оглушительный медный грохот шествие иконоборцев вступило на площадь. Народ раздался, расступился в стороны — и такой истовый восторг, такая радость засияла вдруг на лицах людей, лишь мгновение назад еще угрюмых и тревожных! Будто всю жизнь свою ждали они этого часа избавления и вот, наконец, дождались. И будто, если разобьют они этих поклятых идолов, не будет отныне в их жизни ни горя, ни страха, ни болезней, ни смерти, а будет лишь один нескончаемый праздник единения и любви, и

всяк будет богат, и всяк будет свободен и счастлив, и придет, наконец, Царство Божее на земле.

Но сразу, сходу вломиться в церковь толпа не смогла. Дубовая, окованная тяжелой медью дверь ее, скрипнув, медленно отворилась, и на пороге возник старенький деревенский кюре в длинной сутане с серебряным распятием на груди. Грета, потрясая кочергой, прокричала ему своим гортанным, похожим на вороний клекот, голосом что-то угрожающее, но кюре будто и не заметил, и не услышал ее, и даже не пошевелился, продолжая раскинутыми, как на кресте, руками загораживать дверь. Грета вновь неистово затрясла кочергой над его лысой, в седом венчике волос головой, но кюре в ответ лишь поднял ладонь правой руки и, глядя своими выцветшими глазами куда-то поверх голов, перекрестил толпу. И тогда двое самых, видимо, отчаянных в деревне молодцов выскочили из-за спины Греты и, подхватив старого кюре под локти, оттащили его от двери, а один из них, рыжий детина с ухмылкой от уха до уха на одутловатом, покрытом прыщами лице, еще и поддал ему напоследок коленкой пониже спины.

Кюре упал. Толпа загоготала, Грета бросилась в раскрытую дверь, в притвор, за нею, толкаясь, и напирая, и смеясь, туда же хлынула и молодцы из ее войска, а за ними и весь собравшийся на площади народ. Питер увидел, как где-то среди голов мелькнул и беленький чепчик Катарини, и ему даже почудилось, что она перед тем, как исчезнуть в дверях, успела еще и помахать ему. Через мгновение гул возбужденных, пьяных от радости голосов наполнил церковь, гулко и мощно отдаваясь под ее сводами. А наверху, на колокольне, продолжали вразнобой звонить, и неутомимый мальчишка все летал и летал между ее окон, дергая то за одну, то за другую веревку, подвязанную к языкам колоколов.

Площадь опустела. Питер шагнул к лежавшему на земле кюре и попытался его поднять. Кряхтя и охая, кюре привстал сначала на колени, потом, цепляясь за его плечо и пошатываясь на нетвердых старческих ногах, стал подниматься в рост. Но если бы не Питер, он тут же и упал бы опять: носком башмака бедный старик наступил на подол своей длинной сутаны, и этого оказалось достаточно, чтобы его хилое ссохшееся тельце вновь потеряло равновесие.

— Падре, проводить вас до дому? Лучше вам отсюда уйти, — спросил, помогая ему отряхиваться, Питер.

— Не стоит утруждать себя, сын мой. Дом мой здесь же, рядом. Я дойду сам... Ты, я вижу, нездешний. И если ты добрый католик, иди своей дорогой, куда шел. Смотреть на это нечего. Страшно на это смотреть! А остановить безумие человеческое — не по силам ни мне, ни тебе.

— Нам не по силам, падре, это правда. Но Небу по силам. А Оно молчит.

— Почему ты думаешь, что Оно молчит? Оно не молчит — Оно вопиет в отчаянии и слезах, видя, что творят люди в злобе и недомыслии своем здесь, на земле. Но Его не слышит никто. Кроме тех немногих, у кого еще сердце не вовсе окаменело. И кому еще жаль людей.

— А вы, падре? Вы слышите?

— Я, сын мой, стар. Я слышу. Я многое слышу, чего не слышат люди... Но что я могу? Лишь плакать да молиться: может, смилуется над ними Господь и вновь простит их. Как уже простил Он им однажды муки Свои тяжкие на кресте...

Вздохнув и перекрестив его на прощанье дрожащей от старости рукой, кюре повернулся и, не оборачиваясь, побрел прочь. Не обернулся он и тогда, когда в церкви вдруг раздался громкий стук топоров, и послышался грохот от каких-то рушащихся сооружений, и стоны ее вновь потряс ликующий рев множества голосов. А спустя мгновение на пороге ее в том же, в чем и была — в шлеме, в латах, и с холщовой торбой на боку — появилась Безумная Грета. Но в руках ее уже не было ни кочерги, ни сковороды: высоко над собой она держала деревянную, ярко раскрашенную статую Девы Марии с младенцем на руках. Сделав несколько шагов, Грета с размаху швырнула статую оземь, и размах этот был столь силен и яростен, что Дева Мария сразу же с треском раскололась почти надвое, а голова младенца Христа отскочила от нее на много локтей в сторону — туда, к луже, в которую, успокоенные, уже снова было успели улечься свиньи.

А за Гретой тотчас же высыпали из церкви ее молодцы, держа в руках разбитые топором обломки алтарного иконостаса. А за ними, вопя, и кривляясь, и приплясывая, повалила вон из церковных дверей вся толпа. И каждый в этой толпе волок за собой либо статую какого-нибудь святого, либо что-то из церковной утвари, либо потемневшую от времени и свечного чада икону, пред которой они еще вчера лишь преклоняли свои колени. И были тут все: и святой Петр с ключами от Рая, и святой Павел, и евангелисты,

и Иоанн Креститель, и Георгий-Победоносец, поражающий змия, и святая Катарина, и святой Иеронимус, и пронзенный стрелами святой великомученик Себастьян, и многое множество других. И все это с размаху, под вопли и улюлюканье толпы, кидалось в кучу, и разбивалось о землю, и разлеталось в мелкие осколки под ударами топоров. И куча эта росла и ширилась, и громоздилась уже выше человеческого роста, а из церкви все несли и несли — ибо церковь была древней, и люди молились в ней Богу и своим святым с незапамятных времен. И казалось, что этому не будет конца.

А когда последний из толпы швырнул наконец в эту кучу последний обломок иконостаса, раздался вдруг пронзительный крик — не крик, а вой — Безумной Греты: «Огня!» И сейчас же вся толпа подхватила этот крик.

— Огня! Огня! — несло со всех сторон. — Долой кумиров, долой идолов! Свобода! Свобода всем! Мы не язычники! Слава Господу нашему Иисусу Христу!

Ах, как жарко, как славно всполыхнуло пламя, мгновенно охватив сухое, промороженное веками дерево древних статуй и икон! Как дымилась, и шипели, и пучились в огне смоляные лики отвергнутых людьми святых, как корчились их тела, сжираемые этим беспощадным пламенем, и с каким оглушительным треском лопались и крошились от жара остатки гипсовых статуй, уже изувеченных, уже разбитых перед тем топором! А как плясала, и неистовствовала, и била в медные тазы толпа, все более и более свирепая от безнаказанности и всемогущества своего! А кругом мятежной толпы визжала, и бегала, и путалась под ногами у взрослых босоногая деревенская детвора, радуясь огню и размазывая грязными кулачками копоть и слезы по лицу.

О, как же не хотелось этим древним идолам погибать... С какой мольбой вдруг вскидывалась над костром скрюченная рука какого-нибудь святого и тянулась, тянулась к людям, будто умоляя сжалиться и пощадить то, что столько поколений было свято для них! А в ответ на ту мольбу раздавался лишь злорадный гогот и свист, и кто-нибудь из толпы тотчас же бросался к этой руке с палкой или кочергой, и вновь запихивал ее вниз, под груды полыхающих обломков, стараясь как можно больше разворошить пламя и не дать никому из брошенных в огонь кумиров избежать предназначенной им всем участи.

Но... Но вдруг толпа окаменела. И над площадью в мгновение ока установилась тишина, нарушаемая лишь шипением и треском костра.

Из самой середины пылающий кучи, откуда-то изнутри ее, пробивая себе дорогу сквозь уголья, и горящие обломки, и куски раскаленного гипса, вдруг, непонятно как, поднялась расколотая, обуглившаяся, но не сгоревшая еще фигуры Девы Марии — одна, без младенца на руках — и встала над костром во весь рост. И на глазах ее... И на глазах ее были слезы! Это видели! Это видели все, кто был на площади! Пораженная, оглушенная толпа лишь выдохнула единым дыханием громкое: «Ах!» и замерла, страшись пошевелиться, не в силах отвести глаз от чуда, явившегося ей. И так бы толпа, наверное, и простояла в оцепенении вечность, ожидая неминуемой кары себе с Небес, если бы не Безумная Грета.

— Руби! Якоб, руби! — завопила, потрясая кулаками, она. — Это не Владычица! Это дьявол! Это он! Я знаю — это он! Это ему пришла теперь смерть!

И тут же, покоряясь ее приказу, из толпы выступил тот здоровенный косолапый парень с боевой секирой в руках и, размахнувшись с плеча, со всей силой ударил ею по внезапно ожившей в огне статуе. От этого страшного удара Дева Мария на глазах у всех мгновенно рассыпалась на тысячи осколков и исчезли в пламени костра. Толпа зажмурилась, вообразив головы в плечи и ожидая, что от такого святотатства здесь же, сейчас же, немедленно земля разверзнется у них под ногами и поглотит их всех. Но ничего — вы слышите? — ничего такого не произошло! Лишь пламя в начавшем было ослабевать костре вспыхнуло с новой силой, пожирая рассыпавшуюся статую, и столб дыма над ним вновь взметнулся до небес.

И тогда новый рев восторга потряс толпу, и новый приступ веселья охватил собравшихся на площади. Нет, не будет им ни грома, ни молнии с Небес! И не разверзнется у них под ногами земля, и не испепелит их Господь на месте в гнев Своем. Права Безумная Грета! И прав господин Мартин Лютер! И правы все те, кто насмеялся над ними — темными, простодушными деревенскими людьми, попрекая их в язычестве и идолопоклонстве. Долой папу! Долой раскрашенных кумиров! Радуйся, веселись, народ христианский, узрев, наконец, истинный Свет!

И, схватившись за руки, толпа опять засвистела, заулюлюкала, застучала по твердой, как камень, земле, своими деревянными башмаками, поднимая вокруг тучи пыли.

— Деревяшки! Это просто деревянные! — вопила и буйствовала толпа. — Гори, огонь! Жги их! Жги проклятых идолов! Мы не язычники! С нами Бог! Слава Господу нашему Иисусу Христу!

Откуда ни возьмись, на площади вдруг появились музыканты: один со скрипкой, другой с домрой, а третий, самый грузный и пузатый из них — с волынкой. Занятный то был инструмент! Огромный бурдюк, прижатый к необъятному брюху его обладателя, из бурдюка вверх — две длинных, тонких трубки, торчавшие высоко над его головой, и еще одна, поменьше, но и потолще, с отверстиями, по которым он ловко перебирал своими пухлыми пальцами, и, наконец, еще одна трубка, уже совсем маленькая — в нее-то он и дудел, надувая что было щеки и плотно обхватив губами мундштук.

И когда заунывные звуки волынки взвились над площадью, и вдогонку им ударил смычок по струнам, и щипок за щипком зазвучал тяжелый такт разудалой плясовой — устоять уже не мог никто. Будто буйный вихрь подхватил и закружил толпу: и стар, и млад пустились в пляс, приседая, и охая, и притоптывая, и выделявая всякие коленца, и высоко, по самые ляжки, раздувая, а то и нарочно задирая множество юбок, мгновенно превративших старую деревенскую площадь в одну сплошную карусель.

— Питер! Что же ты стоишь? Танцуй! Танцуй с нами! — дернула Брейгеля за рукав раскрасневшаяся, растрепанная, сияющая от счастья Катарина, на секунду задержавшись возле него. — Праздник, Питер! Праздник! Долой идолов! Танцуй, Питер! Танцуй!

— Чему ты радуешься, дурочка? — тихо спросил он ее. — Что вы все тут, с ума посходили, что ли? Какой праздник? Ты что? Это же не праздник, это похороны! А кто же пляшет на них?

— Ах, какой ты скучный, Питер! — блеснула ему зубками в ответ она, победно, с вызовом перебирая перед ним ногами и помахивая над головой беленьким платочком. — Ты чужой, Питер! Ты старый! Но ты завтра приходи! Придешь? Я буду ждать! — лишь одними губами, так, чтобы никто, кроме него, не мог в этом гвалте услышать ее, проговорила Катарина и, подмигнув ему, сейчас же умчалась прочь, в самую гущу толпы, где ее тут же подхватил и, как юлу, закружил вокруг себя какой-то рослый, косяя сажень в плечах парень — может, это и был ее жених?

А когда из трактира, что стоял напротив церкви, двое дюжих работников выкатили на площадь огромную бочку пива и тучный, благодушный хозяин его стал угощать всех желающих, каждому наливая до краев в большую глиняную кружку с гербом, подававшуюся обычно лишь почетным гостям — люди, видно, и вовсе забыли, из-за чего весь этот шум и гам, и музыка, и танцы, и перезвон колоколов. Костер стал понемногу затухать, но собравшиеся на площади, похоже, как дети, уже наскучили им и потеряли к нему интерес. Музыка, пиво, жадные, ухватистые руки, разгоряченные тела, призывные улыбки женщин — ах, как здорово, как весело было в этот неурочный час, в разгар сенокоса, забыть обо всем и наплясаться, накружиться, натискаться всласть, и напиться допьяна, а потом рухнуть где-нибудь на сеновале, в холодке, и заснуть, и не помнить больше ни о чем! И вновь, отпрянув от бочки с пивом, и мужчины, и женщины бросались в пляс, лишь только волынщик, вытерев пот со лба и проглотив слюну, начинал новый танец. И вновь их грубые башмаки в самозабвенном топоте сотрясали землю, и юбки раздувались и кружились на ветру, и разгорались горячечным блеском их глаза, а руки хватали друг друга за всякие потаенные места, не стыдясь и не опасаясь никого.

Но если толпа уже забыла о костре, то не забыла о нем Безумная Грета. Когда последние языки пламени поникли, и казнь свершилась, и некогда божественные святые превратились наконец всего лишь в груды мерцающих угольев, подернутых пеплом, над толпой, заглушая музыку, вдруг вновь раздался ее хриплый, каркающий голос:

— Йост! Где старый Йост!

— Я здесь, Грета!

— Где крест, что ты тащил, старый Йост?

— Он здесь, Грета! Вот он лежит.

— Ставь его! Ставь его здесь. Отныне и вовек это место будет свято! Ибо здесь мы избавились от сатанинской власти папы римского и всех прислужников его. И здесь отныне будет могила идолов, что по наущению дьявола встали между Богом и смертным человеком. Копай, Йост! Ставь здесь крест. Боже великий, Господь всемогущий! Да святится Имя Твое! Да придет Царствие Твое!

— Аминь! — грянула в ответ вновь сгрудившаяся вокруг костра толпа и закрестилась истово и покорно, услышав над собой Имя Божье.

И сейчас же Гретины молодцы в несколько лопат раскидали в стороны затухающий костер, и вырыли посреди него глубокую ямку, и подтащили к этой ямке большой, уже заранее обструганный на конце деревянный крест — тот, что нес на своих плечах статный седобородый старик, замыкавший процессию иконоборцев, когда они вступили на площадь. Этот старик и вышел из толпы, когда все было готово, а вместе с ним, робея и смущаясь, вышли двое молодых парней и девушка в белом, сбитым набок чепце. «Катарина!» — отметил про себя Питер, стоявший незамечаемый никем позади всех.

Вчетвером старик и его дети подняли этот высокий крест и торжественно водрузили его над площадью. И вновь ударил колокол на колокольне, и вновь ликующими криками взорвалась толпа. И опять задудел в свою дуду волынщик, и опять вся деревня пустилась в пляс. А оборванная, сопливая деревенская детвора, не зная ни удержу себе, ни усталости, пуще прежнего бросилась скакать, и прыгать, и кувыркаться через голову, и ходить вокруг почти совсем затухшего костра на руках, выражая своими истощенными воплями высшую степень восторга и удивления от жизни.

Печально, с тяжелым сердцем и сдавленным дыханием смотрел старшина гильдии живописцев на это буйство, на этот яростный праздник разрушения. И даже не гром, не кара с Неба потерявшим всякий рассудок жителям мятежной деревни страшили его. Господь все видит, но Он далеко! И кому дано понять промысел Его, коли попустил Он сам быть на земле разрушению и смерти, и силам дьявольским, и человеческому мятежу? Кто знает, может быть, и этим простодушным варварам сойдет их святотатство с рук. Испанцам теперь не до них. А у своей, фламандской администрации слишком мало сил и слишком много колебаний и сомнений, чтобы уследить за всеми и всюду поспеть.

«Ну, хорошо, — думал он. — Кумиры, идолы, господин Мартин Лютер велел... А как же древность этих икон, как же красота их, как же труд человеческий? Сколько веков, сколько поколений копились эти сокровища здесь, в этой маленькой церкви? И в каждом из них великий труд великих мастеров, и пот их, и кровь, и дар их Божественный, и надежда их, и мольба, и любовь их к людям. И не жаль? Неужели не жаль? Не жаль ничего — ни этих сокровищ, ни себя, ни убогой своей жизни? А о чем может жалеть вон то животное, что с таким усердием топчет сейчас своими но-

жищами землю вокруг потухающего костра? Что им нужно? И что есть их жизнь? Пожрать, поспать, завалить какую-нибудь девку на сеновале, выглотать до дна свою кружку пива — что еще? Еще? А разве есть что-нибудь еще? Разве знаешь ты, Питер Брейгель, что-нибудь еще, что было бы нужно им? И не обольщайся, мастер, не обольщайся, старшина гильдии живописцев! И ты им не нужен! И придет, настанет когда-нибудь день, когда они, или их сыновья, или их внуки и правнуки и тебя потащат в костер — и твоих «Волхвов», и «Голгофу», и «Вавилонское столпотворение», и «Апофеоз смерти». Почему потащат? За что? А ни за что! За то, что ты им не нужен. За то, что от тебя на земле один лишь вред, да пустые, ненужные никому мечтанья, да смятение в умах».

Тоска сжимала его сердце, и некуда было деться ему, чужому, от одиночества в этой ликующей, праздничной толпе. И невозможно было понять ни себя, ни мир, ни двуногих зверей, населяющих его.

И вспомнилось ему одно ночное видение, что чуть не всю жизнь преследовало его. То ли вправду это было, то ли приснилось ему? С уверенностью он теперь уже сказать не мог. Да и не так уж важно, что это было на самом деле — быть или сон.

Проснувшись однажды ночью, он выглянул в окно и увидел на крыше дома напротив странную фигуру. Какой-то человек в длиннополом темном камзоле и коротких штанах, широко расставив свои кривые ноги, мочился на луну. В ярком, холодном ее свете струя, бившая из штанов, изгибалась сияющей дугой и, дробясь на тысячи мелких осколков, падала где-то там, далеко в высоте, орошая лунный лик, одиноко блестящий в ночном небе. Потом, стряхнув последние капли, человек этот застегнул штаны и тут же исчез, растворился в ночи, как будто бы его и не было никогда.

III

Кончился сенокос. Прошел и июль, и наступило, наконец, время жатвы. Но ничего, ровным счетом ничего не изменилось ни в Катарине, ни в их встречах, ни в нем самом.

Как будто и речи не было ни о какой свадьбе! Так, пошутили и забыли — мало ли о чем могло ей прийти в голову по-

шутить? Все тот же амбар, все та же охапка соломы, и паутина в углах, и рассохшиеся бочки, и полуденный зной, и та же простодушная радость в ее глазах, когда он обнимал ее или раскладывал у нее на коленях свои маленькие подношенья: сережки, ленточки, баночки с помадой, а то и полфлорина, а то и серебряный флорин, которых она собрала уже столько, что хватило бы, наверное, на целое монисто.

Иногда только перед тем, как проститься, заговорщицки подмигнув, он позволял себе все же чуть-чуть поддразнить ее:

— Катарина, а как там, между прочим, наш жених? Ты совсем мне не говоришь про него.

— А ничего! Что ему делается? Наверное, в поле сейчас. Ячмень косит. А может, по дому что-нибудь мастерит.

— Ты уже полюбила его?

— Нет еще, Питер! Не полюбила. Я тебя люблю. Ты добрый, лучше тебя нет. Ты смотри, завтра приходи! Я буду тебя ждать. Придешь?

Ничего не изменилось и в деревне. Побросав в костер идолов, прогнав старого кюре и наплясавшись до упаду вокруг костра, под пронзительные звуки волынки и грохот медных тазов, жители ее смиренно разбрелись по домам, чтобы утром, как ни в чем не бывало, вновь начать свою жизнь, полную забот и трудов, и болезней, и тревоги о своих близких.

Утих, улегся понемногу и страх, таившийся в душе каждого из них — страх не только гнева Божьего и кары с Небес, но и перед земными властителями, будь то испанцы или свое, местное начальство. Дни проходили за днями, но никто не приходил в деревню, никто не спрашивал ни о чем. И кюре, похоже, никуда не ходил и не жаловался никому, а как жил, так и жил себе тихо в своем доме неподалеку от церкви, смирившись, видно, со своей участью и простив гонителей своих. Права, права была Безумная Грета! Великое, воистину угодное Богу дело свершили они, разгромив это гнездилище проклятых идолов! А теперь каждый волен молиться Богу, как подсказывает ему его сердце и как учит тому Книга. А больше Господу Богу и не нужно от человека ничего.

От зари и до зари вся деревня была в поле: косили, вязали снопы, ставили их в копны, торопясь воспользоваться погодой и радуясь на редкость щедрому в этом году урожаю. А в деревне оставались лишь малые дети и беспомощные старики, да собаки, уныло бродившие меж дворов, тос-

куя от жары и безделья, да куры, да черные свиньи, вольно, без опаски по самые уши валявшиеся в грязи. Да еще изредка по дороге на Брюссель проходил какой-нибудь прохожий, озираясь по сторонам и дивясь безлюдью, царившему вокруг, или, переваливаясь, и подсакивая на ухабах, и поднимая за собой столбы пыли, проползала повозка какого-нибудь торговца, припозднившегося со своим товаром в город, или, сломя голову, пронесился мимо хмурый и озабоченный всадник, судя по одежде чиновник из городского магистрата, посланный куда-то с поручением. Куда-то! Но не к ним.

Тихо было в деревне! Ни облачка на небе, и ни облачка ни в душах, ни в умах людей. Лишь покой, да тишина, да неспешное — день прошел, и слава Богу — движение жизни. И жить бы так и жить мирным жителям ее до скончания своих дней, вознося хвалу Господу. Но...

Но, как оказалось, тишина та была обманчивой. И не успели еще закончить жатву, как разразилась над деревней беда. Неслыханная дотоле беда, неведомая даже старикам! Ибо если и пересчитывали власти когда жителей ее по головам, то только отцов семейств, на кого, в согласии с обычаем, возлагались королевские подати и все другие поборы и тяготы, что устанавливал своею властью магистрат. А здесь — перепись всех! Всех жителей ее, от мала до велика, включая и женщин, и грудных младенцев, и давно уже не встающих со своего одра, забытых всеми стариков. Откуда, как, с какой стати возникла она, эта нежданная никем напасть? Как гром среди ясного, безоблачного неба! И чего ожидать от нее им, смиренным подданным его королевского величества? И чем она им грозит?

Но ничего и никому не пожелали объяснить двое угрюмых, молчаливых королевских писцов, одетых в черное, с утра засевших со своими бумагами и перьями в трактире на деревенской площади. И ни слова нельзя было вытянуть ни из высокомерного начальника королевской стражи, сопровождавшей их, ни из его неподвижных, будто статуи, солдат, что во всеоружии — в латах, с мечами и копьями, и арбалетами за плечами — оцепили на конях со всех сторон деревню. Ничего не смогли понять недоумевающие, сбитые с толку жители ее и из королевского указа, что во всеуслышание прокричал на площади глашатый. Кроме разве одного: должно всем им самолично предстать перед писцами и, не обинуясь, поставить свою подпись, а буде кто не знает грамоты, то крест под именем своим, внесенном в списки. А

малых детей всех поголовно, без различия полу и возрасту, должно представить к переписи их родителям либо опекунам. А буде кто из жителей по нездоровью, либо дряхлости своей не сможет прийти сам, то тех родственникам их или соседям принести на руках и тем засвидетельствовать перед писцами их наличие среди живых.

И потянулись, потащились со всех концов деревни к этому трактиру испуганные, притихшие ее жители: сначала робко, нехотя, страшась неведомого, а потом и бодрее, торопливее, видя, что и сосед идет туда же, и детей с собой ведет мал мала меньше, и другой сосед идет, поддерживая под руки своего дряхлого старика-отца, и в других многих домах вдоль улицы хлопают двери, а из них, крестясь и оглядываясь назад, выходят почтенные отцы семейств, и старики, и бабы в домотканых фартуках и подоткнутых за пояс юбках, а кто и принарядившись, будто ради какого праздника, и все торопятся на площадь, и никто не хочет быть последним из всех.

Ну, а когда суровые, молчаливые стражники стали ходить по домам да по дворам и выгонять оттуда тех, кто замешкался — либо хозяйка присохла к своим горшкам и все никак не оторвется от них, либо хозяину как раз приспичило починить сломавшееся колесо в телеге, а то дети куда-то запропастились, попрятались, неизвестно где, или не дозвешься их, бесенят, с улицы — то и совсем веселее пошло дело. И зашумел, затолпился народ на площади, радуясь тому, что никто здесь не один, и коли пришла какая беда, то она пришла для всех.

Духота и мухи выгнали писцов из трактира, и они установили свой стол прямо в его дверях. К этому-то столу, толкаясь и переминаясь с ноги на ногу, и двигалась длинная, колеблющаяся очередь, в которой каждый, достигнув дверей трактира, сейчас же замолкал — а только что шутил, а только что перемигивался с соседями и подталкивал их локтем: дескать, не боись! — и начинал чесать в затылке, и заикаться, и бормотать что-то невнятное, пытаясь чего-то избежать или что-то выгадать для себя и не понимая или делая вид, что не понимает, чего от него хотят.

— Ты чего дурака валяешь, хозяин? — сердился тогда писец. — А детей у тебя сколько? А как их зовут? А возраст? Тебе же ясно сказано: и детей пиши! А это кто? Племянница? Пиши и ее...

Уже колокол на колокольне отзвонил полдень, а толпа у дверей трактира все не уменьшалась. И уже, наскучив столь

долгим ожиданием, вновь, как ни в чем не бывало, принялась скакать, и кувыркаться в пыли, и бегать друг за дружкой взапуски неугомонная детвора. И уже, повалив ее в грязь и прижав за уши, кто-то из работников колот длинным кухонным ножом визжащую свинью, а другой подставлял таз под ее горло, чтобы собрать брызжущую из нее струей кровь, а хозяйка трактира раздувала очаг, чтобы тут же и отправить ее, выпотрошенную и освежеванную, на вертел и накормить, чем Бог послал, неожиданных гостей, а хозяин, выбив из пивной бочки плотную затычку, наливал до краев в глиняные кружки пенящееся пиво, чтобы промочить их спекшиеся от жары и пыли глотки. И уже кто-то, усердствуя и позабыв все свои недавние страхи, шептал сдавленным шепотом на ухо писцу:

— Там, ваша милость, во-о-он в том доме, бабка старая живет. Давно уже с постели не вставала! А говорили, что жива еще. И Мария — вон она стоит, простоволосая — месяца два всего, как родила, а мальчонку своего, видно, дома оставила, сюда не принесла. Так что вы, ваша милость, распорядитесь, чтобы уж во всем порядок был...

Но время шло, и понемногу толпа начала редеть. Дело сделано: коли не подпись, так жирный крест на бумаге у писца поставлен — и не за себя только, а и за жену, и за детей своих малолетних, и за родителей престарелых, так чего же дальше — что прохладиться, время попусту терять? Ну, пропал сегодня день для жатвы, не пустила королевская стража людей в поле — что толку сокрушаться о том? И дома полно забот: и дров надо наколоть, и воды из колодца натаскать, и свиньям отрубей замесить, и коров подоить, когда стадо с поля придет. А еще и дверь в доме покосилась, давно на одной петле висит, а еще и крышу надо подправить, черепица с одного края начала обваливаться — и у самого глаза бы не глядели, и перед соседями совестно: ну и лодырь, скажут, живет в этом доме, крышу и ту не может починить. Пустой, скажут, человек...

И потянулся народ по домам, вновь погружаясь в свои заботы и забывая уже о том, что выгнало их на площадь. Но мало кто из них успел уйти далеко.

Яростный, истощный женский вопль внезапно потряс деревню. Из старого кирпичного дома, что стоял рядом с развалившейся башней, на площадь вдруг выскочила, потрясая кочергой, Безумная Грета. Глаза ее горели, седые патлы торчали дыбом, оскаленный рот изрыгал какие-то неведомые, страшные проклятья, доселе неслыханные тут

ником. На сей раз на ней не было ни солдатского шлема, ни лат, а была лишь длинная холщовая рубаха, подпоясанная веревкой, да все та же торба с медной посудой, лязгавшей и гремевшей в ней на ходу.

— Грета! Безумная Грета! — загудела толпа, удивляясь, как же они могли забыть о ней. Писец, вздрогнув, оторвал свою голову от бумаг и тоже уставился на нее. Забеспокоился, видно, и королевский лейтенант, до того безразлично и отстраненно восседавший на своем коне в холодке, под кроной старого вяза. Тронув поводья, он медленным шагом приблизился к толпе, и тотчас же к нему, тоже на конях, присоединилось с десятков его молчаливых, закованных в латы солдат, сразу выстроившихся вокруг таверны и толпы у ее дверей в полукруг.

— Прочь! Прочь, окаянные! Прочь, слуги дьяволовы! — вопила Грета. — Кто звал вас сюда? Что нужно вам, врагам истинной веры Христовой, от овец Его послушных! Люди! Гоните их вон! Порвите эти сатанинские списки! Ибо в них ваша смерть! Не к Богу понесут они эти списки, а к дьяволу! И не Бог, а князь Тьмы прислал их сюда на вашу погибель!

Толпа расступилась. Ворвавшись в самую ее середину, Грета закружилась, завертелась волчком на одном месте, как крылья, раскинув исхудалые свои руки и бормоча под нос себе какие-то заклятья. Глаза ее закатились, на губах выступила пена, а тело билось и сотрясалось в судорогах, и казалось, что еще немного — и она грохнется оземь, и тогда случится что-то страшное, что-то небывалое, и померкнет день, и наступит вокруг ночь.

— Чур! Ах, ах, ах... Чур меня! — повторяла она, все ускоряя и ускоряя свое вращенье. — Изыди, враг, изыди, Сатана! Изыди, ловец душ человеческих! Ищи своих мертвцов не здесь! Святой Боже, святой крепкий! Заклинаю тебя! Спаси детей Своих! Неповинны пред Тобой они!

Не только толпа, но и оба писца, и лейтенант, и его солдаты, не отрываясь, как замороженные, смотрели на это дикое, нарастающее вращение, ожидая чуда. Но чуда не было. А были лишь гортанные вопли, и хрип, и проклятья беснующейся старухи, неожиданным появлением нарушившей вдруг исполнение ими своей нелегкой службы.

Первым опомнился лейтенант.

— Это кто? — с явным испанским акцентом спросил он, склонившись с коня, притихшую толпу. Толпа молчала.

— Это кто? Кто-нибудь знает ее? — повторил он свой вопрос.

— Грета! Безумная Грета. Божий человек! — решился, наконец, ответить кто-то из собравшихся у трактира.

— Повесить! — коротко бросил лейтенант и тронул поводья своего коня.

Мгновенно двое его солдат, соскочив на землю, заломили Грете руки за спину, а третий воткнул ей в горло кляп. И никто и глазом не успел моргнуть, как, откуда ни возьмись, появились два длинных обструганных бруса, и молоток, и гвозди, и топор, стремянку же и табурет услужливо вынес из дому хозяин трактира. Не пришлось искать и веревку — сгодилась та, которой была перепоясана Грета. Не хватало теперь только верхней перекладины, да еще надо было выбрать подходящее место, где установить виселицу, чтобы она была видна отовсюду и в то же время не мешала никому.

Взгляд лейтенанта упал на крест, вкопанный перед церковью — на том месте, где месяц назад были сожжены кумиры и идолы, выброшенные из нее. Лицо его выразило недоумение.

— Это что? Почему он здесь? Здесь ему не место.

Но вопрос его повис в воздухе. На сей раз никто из топлы и вовсе не решился ничего ответить ему.

— Убрать! — распорядился лейтенант. — Отличная будет перекладина. А виселицу поставить там, на возвышении! У башни. Там хорошо продувает. Пусть старая ведьма повернется теперь там.

И не прошло и получаса, как извивающееся, дергающееся тело бедной Греты заплясало под тесовой перекладиной меж двух столбов, водруженных на поросшем травой маленьком холмике рядом со старой башней. Но мучилась она недолго. Окаменевшая от ужаса толпа не успела даже перекреститься, как босые ноги ее, сведенные судорогой, распрямились и повисли, словно плети, не доставая до земли, голова бессильно отвалилась набок, лицо набухло багровой синевой, а кляп, вытолкнутый, видно, последним в ее жизни криком, вместе с языком вывалился изо рта.

И закачалась, закружилась на ветру вокруг смертной своей удавки Безумная Грета! И полетела душа ее ввысь, к престолу Всевышнего. А может, и не ввысь, может, и прямоком в подземное царство, в преисподнюю отправилась она — кому то дано знать?

— Именем короля! Слушайте, жители деревни, мой приказ! — прокричал, лишь только свершилась казнь, своим громким, властным голосом лейтенант, путая испанские и фламандские слова. — Никто из вас до особого распоряжения да не смеет приблизиться к телу сей преступницы, дерзнувшей посягнуть на прерогативы законной власти. Нарушившему приказ наказание — смерть! И не говорите потом, что вас никто не предупредил!

Угрюмо и сосредоточенно, боясь пошевелиться, внимала толпа его словам. И столь неожиданна была эта казнь, и столь страшной оказалась судьба Безумной Греты, еще вчера только самой могущественной, самой почитаемой во всей деревне, что ни крика, ни слова не раздалось в толпе во время этой экзекуции. Лишь сдавленные рыдания иногда слышались кое-где среди женщин, но и они тотчас же обрывались под негодующими взглядами или испуганным шиканьем соседей и родных. И даже малые дети прекратили свою вечную возню и беготню вокруг взрослых, не в силах оторвать глаз от болтающегося на веревке тела несчастной колдуньи.

А еще через час, переписав последних и подкрепившись в трактире пивом и свиной с вертела, уехали и писцы, и королевская стража со своим грозным лейтенантом. И опять наступила в деревне тишина.

А в это время в заброшенном амбаре, спрятанном в густом подлеске, среди крапивы и буйно разросшихся зарослей боярышника, Питер Брейгель, растянувшись на соломе, ждал свою возлюбленную, недоумевая, куда она могла запропасться. С некоторых пор он предпочитал не заходить в деревню, а каждый раз, через скошенный луг и болотце, пробирался прямо сюда, в амбар, и здесь поджидал ее.

Обычно она редко когда опаздывала. Но сегодня прошло уже часа два, не меньше, как на колокольне пробили полдень, а ее все не было. Он даже успел задремать немного, ожидая ее: так прохладно, так покойно было в дальнем углу амбара, куда не доставал солнечный свет, и так мирно щебетала за застрехой, на провалившейся его крыше какая-то птаха, что он и не заметил, как его сморил сон. Сон был тихий, без сновидений, и, проснувшись, он даже улыбнулся себе: старик ты, не старик, а как привык в детстве засыпать под колыбельную, так и не покинет, видно, тебя эта привычка до седых волос. А уж кто ее поет, эту колыбельную — мать ли, птаха ли какая певчая, или просто ветерок колы-

шет листву у тебя над головой — это, в сущности, все равно.

Наскучив ждать, он уже подумывал было встать и потихоньку отправиться восвояси — что ж, ничего не поделаешь, не задалось, так не задалось, — как скрипучая, рассохшаяся от старости дверь амбара отворилась, впустив в его полумрак косой столб света, и на пороге, тяжело дыша и утирая пот со лба, возникла Катарина.

— Ты еще здесь, Питер? Ой, какой ты молодец... А я боялась не дожدهшься, уйдешь...

Вновь заскрипел, дверь за ней закрылась. В полутьме, царившей в амбаре, черты лица Катарина были почти неразличимы, да и глаз ее он, ослепленный внезапным светом, брызнувшим из двери, увидеть не успел: едва пробравшись сквозь всякий старый хлам в тот дальний угол, где он лежал, она тут же рухнула на солому рядом с ним и спрятала лицо у него на груди, в вырезе его полотняной рубахи. Она не говорила ничего, только дышала прерывистым дыханьем. Но то ли по влажности ее ресниц, коснувшихся его голой груди, то ли по привкусу соли у него на языке, когда она нашла, наконец, своими губами его губы, а может, и по легкой дрожи, сотрясавшей ее тело, прильнувшее к нему, он понял, что что-то произошло.

— Что с тобой, Катарина? Что случилось? — спросил он, чуть отстранив ладонью ее лицо от своей щеки, но другой рукой еще теснее прижимая ее к себе.

— Повесили, Питер. Безумную Грету повесили... Там, на площади...

— Как повесили?! Кто?!

— Лейтенант и солдаты его...

— Какой лейтенант? О чем ты говоришь, Катарина?

— Не спрашивай, Питер. Потом. Лучше потом... Расстегнись, иди ко мне. Ты уже давно ждал...

— Подожди, Катарина. Подожди! Нельзя же так, в самом деле...

— Как страшно было, Питер! Ой, как страшно... Если бы ты видел... Ну, иди же ко мне! Чего ты медлишь? Мне скоро опять убежать...

— Да подожди ты, говорю! Дитя! Объясни же толком: за что повесили? Как это произошло?

— Потом, Питер. Потом. Иди ко мне...

— Ну, что ты все заладила: потом, потом! Потом и будет потом...

— Ты давно ждал, Питер. Что ж тебе, так и назад идти? А вдруг ты обидишься? Вдруг ты больше не придешь?.. А я? А я как же? Что же мне, тоже ни с чем обратно домой бежать?

— О, Господи! Святая простота... Ну, ладно, тебя не переспоришь. Потом — так потом. Дай я только башмаки скину. А ты в юбках своих разберись...

«Благословенна ты будь, Катарина! Благословенна ты будь, чудо мое, творение Божее, посланное мне в утешение на склоне лет, — думал он. — И опять ты права, дитя! Что значат казни, что значит смерть, и беды, и волнения людские, когда мы с тобой здесь? И никого здесь нет, кроме нас. И вообще сейчас никого в мире нет, кроме тебя и меня...»

Но нет — Питер ошибался. Не были они одни! И она была другой, не такой, как всегда: никогда прежде не впивалась она в его так иступленно, с такой страстью, с желанием исчезнуть, раствориться в нем целиком, будто гонимая каким-то дотоле неведомым ей, отовсюду нависавшим над нею страхом, от которого единственным спасением и убежищем для нее был он, Питер, ибо только он один и мог прикрыть и защитить ее своей спиной от всего, что было страшного в этом мире. И никогда прежде, когда все кончилось, не лежала она, бездыханная, так долго рядом с ним, закрыв глаза и бессильно вытянув руку вдоль его груди. «Вот и все, вот и не страшно ничего. Лежи, дитя! Лежи, пока мы здесь. Пока ты со мной. Как знать, что еще будет с тобой в жизни», — думал он, глядя на ее прикрытые веки и ощущая, как последние толчки, последние затухающие судороги уходят из нее...

Когда они расстались, он не пошел в город — он пошел на площадь. Ни по дороге к церкви, ни на площади ему не встретилось ни души, хотя еще был день и тусклое, будто оплавленное жарой солнце еще стояло довольно высоко. Казалось, что деревня вымерла, обезлюдела, что не только люди, но и собаки из нее куда-то все исчезли и, кроме кур да черных свиней в лужах, теперь в ней больше и не жил никто.

Добротные, сложенные из красного кирпича дома, окружавшие площадь, отстраненно смотрели на мир своими наглухо запертыми дверьми и потемневшими от времени, тоже запертыми, несмотря на ранний час, ставнями своих окон. И лишь по низеньким струйкам дыма, растекавшимся там и сям над остроконечными черепичными крышами, можно было понять, что жизнь все-таки еще теплилась

здесь, и кто-то там, за этими дверьми и ставнями, уже готовит для семьи ужин, и обитатели этих домов тихо сидят сейчас за столом и беседуют о чем-то о своем, а может, и просто молчат, прислушиваясь, как поднявшийся ближе к вечеру ветер шумит снаружи в кронах старых вязов, или посвистывает у них над головой в дымоходе, или постукивает в неплотно пригнанные ставни, будто нищий какой клюкой. И уже, наверное, не помнит кое-кто из них, что случилось сегодня на площади, и порванная конская сбруя, или рассохшийся обруч на кадушке, или невесть откуда взявшаяся дыра на рубахе целиком поглотили его. А жена его, изгибаясь натруженной спиной, никак не может вытянуть ухватом чугунок с похлебкой из печи, а дети катаются и ползают по полу, пытаюсь поймать удирающего от них котенка, а престарелые родители его тихо бормочут в углу молитвы, готовясь к грядущей своей встрече с Богом...

Ага! Вот и виселица на холме. А вот и она, несчастная Грета, пытавшаяся спасти последователей своих от когтей дьявола. Как смирно, покорно теперь висит она на длинной своей веревке! И какие жалкие, худые у нее ноги! И какие черные, задубелые от грязи и долгого хождения по земле у нее ступни... И мухи уже облепили ее лицо, и воронье уже расселось вокруг, на деревьях, ожидая щедрой себе поживы... А это что за птица устроилась у нее над головой, на перекладине? Сорока? Этой-то что надо? И еще подпрыгивает, вертит своим хвостом туда-сюда, стрекочет изо всех сил, будто скликаая отовсюду своих подружек... Кыш, проклятая! Пошла отсюда! Здесь смерть! Понимаешь ты — смерть? Что знаешь ты о ней — ты, безмозглая тварь?

Спугнув нахальную птицу и перекрестившись на прощанье, Питер было двинулся по дороге в город, но, заметив, что дверь в трактире на площади открыта, решил сперва облегчить душу глотком-другим чего-нибудь покрепче, а заодно и помянуть бедную колдунью, столь страшно окончившую свои дни. В трактире было пусто, только в дальнем от двери углу его, подперев щеку кулаком и понуро уставившись в окно, сидел какой-то человек, одетый в темное. Приглядевшись, Питер узнал в нем того самого кюре, что безуспешно пытался тогда, месяц назад, остановить беснующуюся толпу на пороге церкви.

— Добрый день, падре, — сказал он, присаживаясь за соседний стол.

— А, мой добрый самаритянин! — узнал его старый кюре, и морщинистое, гладко выбритое лицо его освети-

лось приветливой улыбкой. — Ты один? Садись сюда, сын мой, подвигайся поближе... Что занесло тебя опять в наши края?

— Дела, падре. Мне часто приходится проходить по этой дороге... И каждый раз, смотрю, у вас здесь что-то новенькое! Право, у вас здесь не соскучишься — не так ли, святой отец?

— Не кощунствуй, сын мой! Ты добрый католик. И, я знаю, сострадание не чуждо твоему сердцу. Не смейся над чужой бедой, не бери еще один грех на душу, добрый человек. Сегодня она. Или они. А завтра ты.

— Я не смеюсь, падре. Я скорблю.

— А коли истинно скорбишь, то не забудь помянуть в своих молитвах несчастную женщину по имени Грета, Безумная Грета, что хотела лишь добра людям, а повлекла их за собой прямой дорогой в ад. Ибо испокон веков та дорога вымощена одними лишь добрыми намерениями! И Сатана, когда восстал против Бога, тоже хотел лишь добра. А содеял зло.

— А это вы вызвали из города солдат, падре?

— Нет, сын мой. Не я. Королевские писцы привели их за собой. А кому сейчас понадобилось переписывать людей — мне то не дано знать.

— А если... А если, падре, человек знает, чувствует в себе право вести людей? Право, данное ему Свыше? Неужто должен он заглушить в своем сердце этот зов? И не будет ли то страшный грех, хуже всех других грехов?

— Нет, сын мой! Не будет. Ибо не от Бога, а от дьявола тот зов... Никто не должен никого и никуда вести, сын мой. Вести — это дело Бога, не людей. А человеку дано лишь заботиться о себе и о своих ближних, и любить их, и избегать греха, и уповать на промысел Того, чьим Именем спасется мир.

— Может быть, и так, святой отец. А только уж больно ноги у нее черные, худые — там на виселице! И висит она страшно: одна, на ветру, посреди холма... Жалко ее! Да еще и сорока зачем-то уселась у нее над головой...

— Может, это и не сорока. Может, это ее душа... Что знаем мы с тобой о смерти, сын мой? Мы, смертные, — ты и я?

Брюссель уже засыпал, когда Питер, затемно, вернулся в тот день домой. В доме его ждал ужин. Но он и не притронулся к нему. Зайдя на минутку к детям, чтобы перекрестить их перед сном, он по скрипучей, темной лестнице,

держа в руке свечу, поднялся наверх, к себе в мастерскую. И там и просидел в одиночестве чуть не до утра, глядя в маленькое слуховое оконце на спящий город, залитый равнодушным, далеким от мира и от людей светом луны.

IV

А на свадьбу она его все-таки позвала! Как и говорила тогда: кончится жатва — и будет свадьба. А жатва кончилась. И день этот, наконец, пришел.

Сама же она и научила его, что сказать ее родным, чтобы никто не заподозрил ничего лишнего.

— Ты смело приходи, Питер! Не бойся ничего, — говорила она. — Ты наш дальний родственник, живешь в Брюсселе. Прослышал стороной, от людей, что будет свадьба — вот и пришел. И подарки принес — и невесте, и жениху, и родне. А про невесту ты, дескать, слышал, что добрая девушка, а видел ты ее только в люльке — мимо, помнится, проезжал. А теперь вот уже и замуж выходит, время-то идет! А гостей, знаю, будет много: отец всех зовет. Да все больше наши, деревенские — из города, может, и не будет никого, кроме тебя. А батюшке то будет честь, он тебя усадит рядом с собой, гордиться будет перед людьми: вона, какой ему, старику, почет! Такой важный господин, богатый, а не побрезговал нашей простотой. Только лучше ты, Питер, пешком приходи, не надо верхом. А то больно много наши на тебя будут глазеть: лошадь-то у тебя, небось, богатая? И уздечка, и сбруя, небось, в серебре? А нашим дай только на богатство поглазеть — забудут и про свадьбу, и про все...

— А венчанье где, Катарина?

— Как где? В церкви.

— В какой?

— В нашей! В какой же еще?

— Так вы ж ее разгромили!

— Ну, мало ли что было, Питер! Распятие-то у кюре осталось...

— Так вы ведь и его прогнали.

— Не, Питер! Не прогнали. Как жил здесь, так и живет. Батюшка ходил к нему: он сказал, что обвенчает, сказал, чтоб не тревожились — все будет, как положено. Он и на свадьбу обещался прийти...

— А ты вправду хочешь, чтобы и я пришел? А, Катарина? Ну-ка, погляди мне в глаза...

— Правда, Питер! Правда хочу. Ты у меня... Ты у меня самый... Если ты будешь, все будет хорошо!

— А потом?

— Потом? А там видно будет, что потом, Питер... Амбар-то наш как стоял, так и будет стоять! Что ему делается? Ты не печалься, Питер. Я смышленная, все говорят. И ты еще не такой старый. У тебя и борода-то только-только начала сесть...

Странное впечатление производила эта брошенная людьми церковь! Ничего не осталось в ней после погрома, кроме голых, уже тронутых кое-где плесенью стен. Будто и не церковь то была вовсе, а могильный склеп — до того неприятно и пусто в ней было без икон, и статуй святых в нишах, и свечей, горящих перед алтарем. Темнота, холод, запах забвения и тлена, могильные плиты под ногами с еле различимыми письменами на них, которые никому уже, наверное, и не прочесть... Лишь над головой, в отличие от склепа, не потолок, а гулкие, уходящие ввысь своды. Но и они так высоки, что снизу — задирай не задирай голову — их не видно, а виден лишь один дымный, колеблющийся полумрак, и можно лишь догадываться, что они там, наверху, есть.

И странно было видеть в ней, в этой церкви, тех, кто еще недавно в упоении своеволия крушил здесь все, что ни попадало под руку. Смирно, понуриив головы и комкая в руках шапки, стояли жители деревни перед маленьким аналоем, освещенным одной-единственной свечой, за которым облаченный поверх сутаны в стихарь, старый кюре читал Евангелие, напутствуя молодых. Все стояли! Все были тут: и старый Йост с сыновьями, и родители жениха, и соседи, и соседки, и косолапый Якоб, и другие молодцы, что так лихо разнесли тогда в щепу все копившееся веками церковное убранство. И хотя все было в согласии с древним обычаем венчания — и священник, и венцы над головами молодых, и латинские слова молитв, и двое мальчиков в белых накидках, придерживавшие длинный шлейф от невестиной фаты, и ячменное зерно под ноги новобрачным, и цветы, которыми был устлан их выход из церкви, и звон колоколов, когда свадебная процессия появилась в ее распахнутых дверях, — и хотя все было так, как надо, Питер все никак не мог поверить тому, что видели его глаза. И это — они? И это те же, кто тогда так исступленно плясал

вокруг полыхающего костра, в котором корчились и погибли выброшенные ими же из церкви святыни? Чудны дела Твои, Господи! И кто же он есть, человек: зверь или подобие Твое?

А из церкви свадьба, радуясь празднику, и предвкушая обильное угощение, и благословляя погожий, еще полетнему теплый день, отправилась в дом к старому Йосту, где в просторной, выметенной и вычищенной по такому случаю риге, примыкавшей к жилью, гостей уже ждал накрытый загодя стол. И хотя, по недавнему королевскому указу, никто и ни под каким видом не должен был сажать разом за стол более, чем двадцать человек гостей, мудрый Йост устроил все так, что никто из приглашенных, вплоть до самых бедных и убогих из них, не остался в обиде и не был забыт.

За большим столом, составленном из длинных, уложенных на козлы и покрытых сверху белой скатертью досок, действительно уселось лишь столько, сколько позволялось по закону: невеста, жених, их родители и братья, их ближайшие соседи, а еще деревенский кюре, и трактирщик, и кузнец, а еще и самый почетный из гостей — Питер Брейгель, важный господин из Брюсселя, дальний родственник семьи. А для всех других на дворе перед домом тоже стояли столы и лавки, и на столах стояли кружки, и миски, и солонки, и кувшины, и лежали ложки и ножи, и всякий мог взять со стола, что он хотел, и присесть на лавку, и отдохнуть, и перекинуться словечком-другим с соседом. И в то же время все было сделано так, что никто не мог бы потом сказать, что старый Йост, нарушив закон, накрыл свадебный стол чуть не на сотню человек.

Прекрасная была свадьба! И пили гости много, и ели много, и шумели, и веселились, и пели песни, и танцевали до упаду: не поскупились хозяева — пригласили не одного, а сразу трех волынщиков, да еще слепого скрипача, да еще какого-то другого слепца, который, сидя в углу на табурете, все время отстукивал ладонями такт в свой туго натянутый бубен. А как сияли глаза у невесты из-под откинутой вверх фаты! Как полыхали ее раздумявшиеся, крепкие, как два налитых яблока, щеки! И каким смешным — истукан, истинно истукан! — казался ее суженный, здоровенный малый с тяжелыми, нависшими над столом плечами: как уставился, разинув рот, на свою невесту, так и не сводил глаз с нее до самого конца, пока свадьба веселилась и пиrowала вокруг них.

А каких только подарков не надарили молодым и их родне щедрые гости! И сукна, и простыни, и перину, и посуду, и другую разную утварь, нужную в хозяйстве, а кто и ягненка, а кто, победнее, и просто петуха, либо гусыню, либо корзину яиц — всего не перечеть! Но всех превзошел гость из города: этот — знай наших! — подарил новобрачным тяжелый кожаный кошелек с золотом. А сколько их было, золотых монет, в том кошельке, того, как ни просила свадьба, ни молодые, ни родители их не сказали никому. А жаль!

И с угощением хозяева постарались на славу. Сначала разнесли по гостям глиняные миски с кислым молоком и плошки с выпеченными в масле, похрустывавшими на зубах оладьями, а потом, в больших медных тазах, выставили на столы курятину, и рыбу, и жареную свинину, и свиные потроха в густой, обжигающей рот подливке, а потом были сладкая, тушенная в меду репа, и яблоки в варенье, и овсяной кисель. И каждый брал себе, сколько вмещала его утроба, и запивал белым вином из кувшинов или пивом из огромной, поставленной на попа дубовой бочки, что, расщедрившись, подарил на свадьбу хозяин трактира на площади. И чем больше пили гости, славя молодых, тем больше разгоралась их жажда, и тем шумнее становился их беспечный застольный разговор, и тем свободнее — и над столом, и под столом, там, где колени касались колен, — делались их руки.

А под ногами у взрослых — и в риге, и на дворе — ползала, и визжала, и тузила друг друга детвора, и обнималась с мохнатыми, терпеливо сносившими все от нее собаками, и, не страшась подзатыльников, совала свои обсосанные, перепачканные землей пальцы в тазы и кувшины, пробуя, что в них такое есть. А когда принесли каленые орехи, восторгу детворы и вовсе не стало никаких границ: ребяташки горстями таскали их из выставленных на столы мешков, и тут же с треском грызли их зубами или кололи на камнях, а потом кидались друг в друга и во взрослых скорлупой, норовя попасть ею кому за шиворот, а кому и в глаз.

И по праву гордился старый Йост такой богатой и веселой свадьбой! По праву гордился он единственной своей дочерью — доброй, послушной девушкой, здоровой и работающей, что выросла под родительским кровом, как цветок в саду, а теперь распустилась во всей своей красе на радость и ему, старику, и родным своим, и людям. По праву

гордился он и зятем — добрый будет хозяин, добрый работник! — и новой своей родней, богатыми, уважаемыми людьми. А что в другую деревню пришлось отдать дочь, так тоже не беда: вон она, та деревня, рукой подать, надо только канал по мостику перейти да пройти потом по берегу с полверсты. И по праву гордился он, старый Йост, приданным, что удалось собрать за дочерью, и подарками, что надарили гости: всем бы молодым начинать с такого жизнь — хоть сейчас свое хозяйство заводи! А еще гордился старый Йост почетом, что на закате его дней люди оказали ему: вся деревня собралась у него на дворе, никто не пренебрег, и кюре пришел, и из города вон приехала родня, да еще важный какой, богатый господин! А вместе с ним гордилась и тихо радовалась удавшейся свадьбе его незаметная, рано увядшая в трудах и заботах жена, мать его детей, что сидела на лавке рядом с ним, улыбаясь всем и лишь украдкой, чтобы не видал никто, смахивая с глаз слезу.

И беседа за столом, накрытым в риге, текла почтенная, подобающая столь торжественному случаю: о том, что осень будет, видно, дождливой и что урожай нынче неплох, да цены в городе опять упали, так что налог оплатить и нынче будет нелегко, а слышно, испанцы опять придумали что-то новое, говорят, будут с каждой деревни теперь людей требовать — дороги мостить да мосты чинить (за тем, мол, и переписали всех), а по сколько человек с деревни и на какой срок, то неизвестно пока; и что молодежь нынче не та пошла, все гулянки у нее на уме да танцы, а по хозяйству и не радеет никто; и что нищих бродяг больно много вокруг развелось, шатаются повсюду, народ пугают, и лучше на ночь теперь запираться от лихих людей; и что от простуды первейшее дело — отвар шиповника пополам с настоем зверобоя, только надо его на ночь пить, чтобы получше пропотеть; и что в той деревне, откуда жених, был случай, корова принесла двойню, а в нашей де такого и не бывало никогда.

А кто повеселее, тот и над молодыми непрочь был подшутить, поскалить зубы: про первую ночь, им предстоящую, да про то, зачем де им такая мягкая перина, когда им в первый раз и на голых досках должно быть хорошо, да про то, сами ли они обойдутся или надо кому их научить, как это делается, и много про что еще, отчего они лишь краснели да клонили, не глядя друг на друга, головы свои вниз.

Но вот что было странно: никто из всей свадьбы ни словом не помянул ни Безумную Грету, ни идолов, сожженных на костре, ни новую веру, пришедшую в деревню! Почему? Потому ли, думал Питер, чтобы не портить никому праздник? А может быть, из почтения к старому, крестившему их всех кюре, что сидел тут же рядом со всеми за столом: он-то, добрая душа, в чем виноват, коли наступили новые времена? А может быть, и просто потому, что забыли уже они, как дети малые, обо всем?

— А что, святой отец, — низко наклонялся Питер к уху сидевшего бок о бок с ним кюре, пытаюсь преодолеть многоголосый шум и гомон веселившейся вокруг свадьбы. — А что, святой отец: может ли человек уповать на милость Божию и на прощение Его в грехах своих, коли грешил он в жизни лишь по неведению человеческому да по темноте своей, а не со зла? Разве равна вина тех, кто не ведет, что творит, вине обдуманной, намеренной? Вине тех, кому дано знать?

— Думаю, равна, сын мой, — вздохнув, отвечал ему старый кюре, медленно перебирая в своих худых, скрюченных от старости пальцах янтарные четки. — Грех не от незнания! Грех от пренебрежения. Не надо знать, чтобы избегать греха, а надо лишь слушать сердце свое. Ибо в сердце каждого человека от рождения его тлеет Божественный огонь — огонь милосердия. Да не всякий ощущает его в себе, не всякий слышит свое сердце... А почему ты спрашиваешь, сын мой? Что навело тебя на эту печальную мысль среди столь простодушного веселья, столь чистой радости в ближних твоих?

— Страшно мне за них, падре...

— Молчи, сын мой! Молчи. Сейчас их радость, их день. А что дальше с ним станется — кто может то знать? Может, и здесь все забудется, все простится. А нет... А нет — ну, что ж! На все воля Божия, сын мой...

Но свадьба шла, и все громче становились голоса гостей, и все чаще, пресытившись обильной едой, икали и рыгали они, бросив ложку и тупо уставившись перед собой осоловелыми, невидящими глазами, и все чаще стучали они глиняными кружками о стол, требуя еще вина. И не раз уже и в риге, и на дворе вспыхивало нестройное пение, когда двое-трое из самых подвыпивших гостей, мыча, и обнимаясь, и покачиваясь из стороны в сторону, затягивали вдруг во всю глотку разудалую песню, и кое-кто из женщин пронзительно и высоко, на пределе своих голосов, тотчас

же подхватывал ее, стараясь забежать вперед и переголосить всех. Но, грянув, песня та после первых же, самых знаковых всем слов каждый раз тут же и затихала, превращаясь в невнятное, хмельное бормотание, заглушаемое шумом и криками других гостей. Ибо не песнями славилась эта деревня, и не было в ней настоящих, знающих толк в песне певцов, а славилась она другим — своей охотой и умением танцевать, только приведишь к тому какой случай.

И вот когда уже всем стало невтерпеж, когда многие из гостей начали притоптывать ногами, и прищелкивать пальцами, и оглядываться по сторонам, горя желанием пуститься, наконец, в пляс — тогда и задудели, и заиграли во всю мощь все три волынщика, а с ними и слепой скрипач, а с ними и другой слепец с бубном. Мигом опустела рига, и мигом опустели столы, выставленные перед домом: все повскакали со своих мест, отшвыривая ногой лавки, и, смеясь и таща друг друга за руки, бросились во двор, а оттуда и еще дальше — на улицу, на дорогу, на сохранившуюся кое-где по сторонам ее зеленую траву, что пощадил, не сжег еще до конца августовский зной.

И заметались повсюду красные, лихо заломленные набекрень шапки с воткнутым за ленту петушиным пером, и замелькали суконные, распахнутые во всю грудь поддевки и плотно, как шкура на барабан, натянутые на ляжки штаны, и закружились белые крахмальные чепцы, и фартуки, и разноцветные, колоколом вздымавшиеся вокруг ног юбки. И закачались в топоте и тесноте раздутые от пива мужские животы, и заколыхались необъятные, обвисшие чуть не до пояса женские груди, и задрожали, выпирая из-под юбок, их мясистые, откормленные зады. И торчали, бесстыдно выдаваясь вперед, туго налитые рвущейся наружу плотью гульфики в штанах и у безусых юнцов, и у почтенных отцов семейств. И наступали, надвигались на них столь же бесстыдно изгибавшиеся навстречу бедра и животы плясавших перед ними женщин, и упирались голые по локоть руки их в крутые, в толстых складках бока, дразня и вызывая на грех избранников своих. И крутились они, и задирали призывно юбки, и вертелись, помахивая платочком вокруг них, своих избранников, подгоняемые их увесистыми, гулкими шлепками пониже спины, и висли у них на шее, не стыдясь никого, и дышали друг на друга вином, и целовались жадно, взасос, торопясь ухватить все свое от жизни. Носатые, курносые, худые, толстощекие, ловкие и неуклюжие, старые и молодые — все смешались в этом самозаб-

венном топоте и гвалте, толкаясь, и смеясь, и отскакивая друг от друга, и поднимая над собой тучи пыли своими башмаками, сменившими по случаю праздника их неизменные деревянные сабо.

Но как же корявы, как грубы были они! И как безобразны, как отталкивающи были их потные, искаженные вином, и похотью, и тупым сосредоточенным усердием лица... Искаженные? Почему — искаженные? А что, в другое время они были иными? И был ли когда-нибудь иным, осмысленным и одухотворенным, их взгляд? И была ли когда-нибудь не хриплой, не отрывистой, не пересыпанной бранью и смачной матерщиной их речь? И была ли когда-нибудь легкость в их косолапой, переваливающейся походке, и были ли когда-нибудь прямыми их ноги, а не выгнутыми колесом?

О, как отвратителен этот кривоногий, брюхатый, как бурдюк, толстяк с его заплывшими салом свиными глазками и штырем торчащим вперед гульфиком, вцепившийся обеими руками в мощный зад своей избранницы! Или этот жилистый, мослатый ухарь с кинжалом на боку, с хищно ощеренным ртом и водянистыми, нагло взирающими на мир глазами из-под белесых ресниц — небось, гроза и смертный ужас всех деревенских девок, а то и кое-кого из их почтенных матерей. Или эта распутная, длинноносая, расхристанная молодка, что, задирая ноги и сверкая ляжками, несется за ним вскачь, увлекаемая его ухватистой, цепкой, как кузнечные клещи, рукой. Или этот мордастый парень за столом, развлекающийся тем, что всею растопыренной пятерней — в лицо, в пустые глазницы, — вновь и вновь отталкивает еще одного неизвестно откуда взявшегося здесь слепца, жадно тянущего свои руки к кувшину с вином. Или ползающие, копошащиеся в пыли на своих коротких костыликах трое безногих калек, плаксивыми голосами вымаливающие себе у гостей в подаяние денежку или какой кусок со стола... Все отвратительны! Все!

«Боже милостивый! Господь всемогущий! Так что же я должен — любить или ненавидеть их всех? — думал Питер, сидя со своей кружкой пива у одного из столов, вынесенных во двор. — Но за что их любить? Но и за что их ненавидеть? Чем виноваты они перед Тобою, Господи? Тем, что родились на свет? Тем, что так тяжка и безысходна их жизнь, и нет в ней просвета, и нет в ней ничего, кроме непосильных, изо дня в день трудов, и иссушающих душу забот о куске хлеба, и страха перед стихиями земными, и болезней, и за-

висти к удачливому соседу, и только редких минут забвения, когда можно, плюнув на все, обо всем забыть и пуститься в пляс? Но разве понять — это и значит простить? А как можно простить им их уродство, и этот хрип из их луженых глоток, и грязь, и смрад от их потных, месяцами невымытых тел, и их животное равнодушие ко всему, и алчность, и тупую их покорность жизни? Это-то как простить? Презираю, Господи! Презираю, и сострадаю, и скорблю о них. Прости мне, Отец Небесный, гордыню мою! Но иначе не могу...»

— А! Наддай! Наддай жару, кума! — продолжала плясать и буйствовать вокруг него свадьба. — Шевелись! Шевелись, тебе говорят! Не бойся, кума, не растрясешь! А растрясешь — еще слаще будет! Шевели, шевели ногами, тумба! Поворачивайся! Эх! Не мне с тобой сегодня ночевать! Уж я бы тебе всадил!

— Как же, всадил! А всадить-то у тебя есть чем? Что-то не больно видать, чего у тебя там есть... Ты давай, своей всаживай! А я не про тебя. Утонешь! И не вытащишь тебя потом!

— Ох, ведьма! Ох, злая баба! Ну, погоди, кума! Привалю я тебя как-нибудь! Посмотрим, что тогда запоешь!

Но когда, потупив взор, вышла в круг невеста, гомон и топот множества ног сразу стихли, и даже самые ретивые из плясавших расступились, освобождая место для нее. Легонько взмахнула она кружевным платочком над головой, призывая тишину, и плавно, лебедем поплыла по кругу под приглушенные звуки волынки и мелкий, дребезжащий звон бубна. И нельзя было отвести глаз от нее: до того румяной, и толстощекой, и пышущей здоровьем казалась она, и до того скромной, и до того счастливой новым своим счастьем, что гости лишь цокали языками в восхищении, и хлопали в ладоши, и низко кланялись ей, когда она, притоптывая башмачками и помахивая платочком, замедляла свое плавное скольжение возле кого-нибудь, приглашая его за собой. Но только лишь самые отчаянные, самые разгулявшиеся из гостей, не выдержав, высказывали в круг, откликаясь на ее зов. Но и они, описав вокруг нее дугу, и откинув два-три колена, и крикнув, что было сил: «Ах, давай! Давай, принцесса! Однова, Катарина, однова, свет ты наш, живем!» — тут же возвращались в толпу, напряженно, вытянувши шеи, следившую за тем, что происходило перед ней.

Не миновала она и Питера. Подплыв, покачиваясь, к нему, она поманила и его в круг, и протянула ему руку с но-

веньким обручальным кольцом на пальце, и он вынужден был последовать за ней, смущенно улыбаясь и озираясь вокруг.

— Питер, ты рад за меня? — беззвучно говорили ее губы, когда он, вытянув руку, бережно, на отстранении, обводил ее вокруг себя, а сам лишь переминался на месте в такт музыке.

— Рад, дитя! Рад, чудо мое.

— А ты будешь ко мне ходить? Долго будешь?

— Буду, Катарина! Буду! Но как? И когда?

— Немного погоди, Питер. С недельку погоди. А потом приходи.

— А куда?

— А туда же! В амбар.

— А как я буду знать, что ты придешь?

— А ты сначала просто так приди. И коли найдешь в соломе вот этот платочек, значит, я на другой день приду. Непременно приду! И буду тебя там ждать...

А наплясавшись до упаду и выпив все вино и все пиво, которое только было у старого Йоста, свадьба двинулась в другую деревню, в дом жениха, что стоял по ту сторону канала.

По всей улице, мало что не по всей деревне, растянулась веселая свадьба. Впереди, ни на миг не прекращая дудеть в свои волынки, шли волынщики, а за ними на шаг-другой сзади тащились оба слепца, один со скрипкой, другой с бубном, увлекаемые мальчишками за полы их поддевок. А за ними шли старый Йост с сыновьями, и отец жениха, и дружка жениха, и дружка невесты, и самые почетные, самые уважаемые из гостей, и все веселые, и хмельные, и разодетые в пух и прах. А посреди шествия двое сосредоточенных, гордых своей должностью подростков, с кинжалами на боку и набитыми всякой нужной всячиной сумками через плечо, вели медленно, павой, выступавшую меж них невесту, уже сбросившую фату, но зато, несмотря на зной, натянувшую на себя все, что годами копилось, дожидаясь своего часа, у нее в сундуках. А вокруг невесты многоцветным бабьим кольцом шли дородные деревенские мамушки и кумушки, сложив на животе руки, и поводя глазами по сторонам, и зорко блюда нерушимый свадебный чин. А уж за ними, горлаяя песни, и рыгая, и управляя на ходу малую нужду, валила вся остальная толпа.

А когда свадьба добралась, наконец, до развалин старой башни и перед нею во всей устрашающей красе

открылась виселица, на которой, как и много дней назад, болталась несчастная Грета — только уже ссохшаяся под солнцем, почерневшая на ветрах, с пустыми глазницами, выклеванными вороньем, и голым черепом, и лошадиными зубами, оскаленными в смертной улыбке, — пуще прежнего задудели волынщики в свои волынки, и пуще прежнего загорланила разгуливающая толпа. А самые озорные, самые веселые из всех, обнявшись за плечи, вновь затоптались, закружились в танце чуть не под самыми ее ногами, что по-прежнему с глухим стуком костей раскачивались, вращаясь то в ту, то в другую сторону, у земли. А косилапый Якоб, заметив на перекладине над Гретой нахальную сороку, с любопытством взирающую на пляшущих и веселящихся, и кривляющихся у самого подножия виселицы людей, схватил где-то длинную жердь и, дурашливо гаркнув, прогнал ее, чтобы не смущала она, проклятая птица, честной народ.

А двое других молодцев, перегрузившись, видно, вином и столь обильным угощением за столом, спустили с себя штаны и устроились тут же, в кустах рядом с виселицей, выставив на свет свои мучнисто-белые, распираемые от натуги зады.

И от всего этого накатила на Питера Брейгеля, старшину гильдии живописцев, черная, никогда дотоле не испытанная им тоска. И, отстав незаметно от двинувшейся дальше свадьбы, побрел он, понуриив голову, по дороге в Брюссель, к себе домой.

V

Не раз и не два потом приходил он из города в тот развалившийся, спрятанный в густых зарослях боярышника амбар на краю деревни. Но не было в ворохе перепревшей соломы в его углу заветного белого платочка, как бы тщательно, не доверяя своим глазам, он ни ворошил, и ни переворачивал, и ни разбрасывал ее.

Наступила осень. Пошли дожди, желтый лист со старых вязов, выстроившихся вдоль дороги из Брюсселя, все плотнее и плотнее укрывал землю, а никакого знака и никаких следов, что она; Катарина, приходила в амбар, обнаружить он не мог. И, давно уже привыкнув в жизни больше терять, чем находить, он почти смирился с мыслью, что и это уже было, что и это прошло и не вернется больше никогда.

Но, совсем угасшая была надежда вновь однажды вдруг воскресла для него. И именно в последнее, как он думал, посещение амбара — последнее, потому что дух его окончательно увял, и сам он себе стал казаться смешным, и таскаться туда без всякого толку и смысла у него уже больше не было сил. Однако в этот раз, едва он, пробравшись в дальний угол амбара, привычно наклонился над ворохом много раз уже ворошенной-переворошенной им соломы, как глаз его сразу ухватил что-то белое, торчавшее из побуревшей от времени соломенной трухи. А вытащив это белое на свет, он увидел, что держит в руках тот самый кружевной платочек, которым она тогда на свадьбе, танцуя, помахивала над головой.

Так, значит, не все еще ушло, не все потеряно? И, значит, она была здесь? И завтра она будет ждать его, и завтра он, наконец, опять увидит ее здесь, в амбаре, на соломе, как всегда?

Нечего и говорить, что всю эту ночь он почти не спал, ворочаясь с боку на бок, и, лишь рассвело, стал собираться в дорогу, набивая свою котомочку всем, что могло порадовать ее, и торопясь исчезнуть из дому, пока не проснулись его домашние и пока не начали, зевая, подтягиваться в мастерскую его заспанные, нечесанные ученики.

День был холодный. Но было сухо. И даже кое-где в лужах на дороге похрустывал по краям под ногами у него тонкий, только-только успевший нараститься за ночь ледок.

Ах, как он спешил! Как спешил! Как будто и не было ему сорока с лишним, и не было у него в бороде седых волос, и не мучили его одышка и боли в боку, отдававшие во все печенки, особенно при быстрой ходьбе, и не видел, не знал он уже в жизни все, что полагалось человеку в его возрасте видеть и знать. Еще холм! Еще ложбина! Еще одна купа почти уж облетевших деревьев — и вот они, остроконечные крыши ее деревни! И дымок, вьющийся кое-где из труб, и колокольня, и болотце, и густые заросли кустарника за ним, где стоял, невидимый с дороги, тот самый, столь дорогой его сердцу амбар!

Но... Но вдруг за последним перед деревней поворотом дороги громкий повелительный оклик остановил его. От неожиданности Питер вздрогнул: перед ним стояли двое неизвестно откуда взявшихся тут солдат, вооруженных до зубов и одетых в черно-желтые цвета фламандской городской стражи. Вид их был как нельзя грозен, и по тому, как

звякнули их латы и как твердо стукнул один из них — видимо, старший — о землю копьём, Питер понял, что стоят они тут не случайно и объяснений ему с ними не миновать.

— Куда? — тяжело, исподлобья окинув его подозрительным взглядом, спросил старший.

— Туда. В деревню.

— Зачем?

— У меня там дела.

— Туда нельзя!

— Почему? Что произошло?

— Нам запрещено вдаваться в объяснения. Нельзя! Приказ начальства.

— А кто ваше начальство?

— Господин герцог Альба. И господа магистрат.

— Я член магистрата. Значит, я и есть ваше начальство.

— Да? Смотри ты... А чем ты можешь это доказать?

Хорошо, что, собираясь, он не забыл в последнюю минуту сунуть на всякий случай в карман куртки этот серебряный жетон с городским гербом Брюсселя, удостоверяющий высокий ранг и законные полномочия его владельца... Как чуяло его сердце! А иначе пришлось бы ему, не солоно хлебавши, возвращаться назад — этих свирепых сторожевых псов ему бы не переспорить ни за что.

Порывшись за пазухой, Питер вытащил на свет эту серебряную пластинку и показал ее им. Медленно, недоверчиво повертев ее перед глазами и убедившись, что все так и есть на самом деле и перед ним действительно стоит член городского магистрата, старший, отставив в сторону копьё, махнул рукой:

— Проходи...

Но Питер даже не успел дойти до того места, где от дороги отделялась маленькая, едва заметная в уже пожухшей болотной траве тропка, которая вела к зарослям кустарника и спрятавшемуся в них амбару, как новый оклик часового остановил его.

Вся процедура с предъявлением спасительной серебряной пластинки повторилась вновь.

Нет, что-то неладное происходило в деревне! Нельзя было идти в амбар. Надо было сначала понять, что же здесь стряслось.

И он не ошибся. В деревне действительно творилось что-то странное.

Вся она была полна солдат, а население ее от мала до велика толпилось на площади, возле церкви, окруженное

со всех сторон закованной в латы и ошетилившейся лесом копий стражей на гладких, раскормленных конях. И... И виселица! И не одна, а целых пять, только что, видимо, сколоченных и установленных полукругом на холме, рядом с еще болтавшейся на веревке несчастной Гретой, вернее, тем, что осталось от нее. И гул — неумолчный гул тревожных голосов, висевший над площадью, и женский плач, и всхлипывания, и повторяемые в смертном страхе слова молитв: «Господи, спаси! Господи, помилуй нас!» И еще — стоящие чуть в стороне со связанными за спиной руками десятка полтора мужчин в одних лишь белых рубахах, поеживающихся от холода, а вокруг них солдаты с обнаженными клинками, упирающимися им в грудь. А среди них, связанных, и старый Йост с сыновьями, и косолапый Якоб, и все другие молодцы, что были тогда, в тот несчастный день, в воинстве мятежной Греты. А поодаль от них в одиночестве, понутив свою седую голову, — старый деревенский кюре с распятием в дрожащих от старости руках. А еще чуть поодаль, восседая на гордо изогнувшем свою крутую шею жеребце — тот самый лейтенант-испанец в красном камзоле и шляпе с пером, что так решительно распорядился тогда судьбой Безумной Греты. А рядом с ним, тоже на лошади — уже знакомый всем городской писец в черном с длинным пергаментным свитком в руках. И еще рядом с ними — некто пеший в перепоясанной веревкой монашеской рясе и с капюшоном, надвинутым на лоб.

Как громом пораженный, Питер, онемев, смотрел из-за сомкнутых солдатских спин, что же будет дальше. А дальше было вот что, и не дай Бог — слышите? Не дай Бог! — то, что было дальше, кому-нибудь когда-нибудь увидеть вновь.

Писец на лошади вдруг поднял руку, требуя тишины. А когда толпа смолкла, он тусклым, равнодушным голосом зачитал, водя пальцем по развернутому свитку, указ:

«Именем его величества короля! Облеченный доверием короны и соответствующими законными полномочиями, я, герцог Альба, правитель Нидерландов и Брабанта, повелеваю: зачинщиков сего преступного мятежа, выразившегося в неслыханном богохульстве, и кощунственном оскорблении, и уничтожении Божественных святынь казнить смертной казнью через повешение, дабы никто впредь во вверенных мне провинциях не дерзнул ни помыслом, ни действием посягать на священные устои нашего государства и на

спокойствие мирных подданных его величества короля Испании и Нидерландов. Приговор окончательный и, согласно с приданными мне чрезвычайными полномочиями, обжалованию и дополнительным судебным процедурам не подлежит. Одновременно поручаю префекту города Брюсселя принять на месте, в зависимости от обстановки, все необходимые меры по восстановлению порядка и искоренению мятежа».

— Выполняйте! — махнул рукой, не сходя с коня, лейтенант.

И сейчас же вся многоголовая, пораженная смертным ужасом толпа закричала, заголосила, забилась в рыданиях, и попыталась было прорвать кольцо выставленных ей навстречу стальных копий. Но солдаты отбросили ее назад. И тогда толпа вся, как один, рухнула на колени, подчиняясь силе, и захлебываясь в слезах, и простирая к лейтенанту руки свои в мольбе:

— Пощади! Пощади, ваша милость! Ради Господа нашего Иисуса Христа! Ради муки Его смертной на кресте!

Но лейтенант был непреклонен. Глядя отсутствующим взглядом куда-то вдаль, поверх голов, он лишь еще раз досадливо дернул рукой:

— Выполняйте. А людей этих отогнать! Прочь! Пусть не мешают правосудию.

Подталкивая толпу острыми концами копий, конная стража отгеснила ее еще дальше от осужденных. А пешие стражники, разбив этих несчастных, обреченных смерти, по трое, погнали их, словно пастухи баранов, на холм — туда, где в лучах тусклого осеннего солнца, рядом с последним пристанищем Безумной Греты, уже почерневшим от дождей, белели свежеобтесанные, установленные там всего лишь час назад новые виселицы.

Первыми повесили на одной перекладине старого Йоста и его двоих сыновей. Только одно лишь послабление и вышло им: с позволения не слезавшего с коня лейтенанта-испанца старый кюре дал каждому из них приложиться на прощанье губами к распятию. Но даже произнести приличествующие столь скорбному случаю последние слова напутствия ему не было разрешено.

Солдаты вмиг затянули петли на горле у всех троих и, в ожидании приказа, застыли позади казнимых, держа в руках концы перекинутых через перекладину веревок. И не смог старый Йост, расставаясь с жизнью, даже обнять в последний раз молча стоявших рядом с ним дорогих сыно-

вей своих, ибо руки и у него, и у них были туго скручены за спиной. И лишь одно и успел он, благочестивый и смиренный труженик, произнести прежде, чем лейтенант махнул платком:

— Прощай жена! Прощайте, дети мои! Прощайте, любезные соседи! Господи! Вручаю тебе душу свою! А вины моей пред Тобою нет...

А другим и вовсе не дали ни слова прощального сказать, ни сотворить последнюю в их жизни молитву. Ибо не выдержал косолапый тугодум Якоб, поняв, наконец, что ожидает его, и заревел, словно бык, и разорвал один движением своих могучих плеч путы, связывавшие его, и раскидал, как щенков, стражу вокруг себя, и даже попытался было в два огромных прыжка прорвать цепь солдат и убежать от своей смерти. Но был тут же, на месте, заколот копьем, с размаху брошенной чьей-то недрогнувшей рукой и вонзившимся ему прямо в сердце.

И тогда лейтенант, раздосадованный нарушившей столь чинный дотоле порядок казни оплошностью солдат, приказал вбить всем осужденным в горло кляп, и затянуть еще ту же веревки у них за спиной, и отогнать от них старого кюре с его распятием. И так, с кляпами во рту, и были повешены все одиннадцать из них, еще оставшихся в живых — повешены все разом, единым рывком за стянутые у них на шее веревки, по взмаху платка застывшего на коне, словно изваяние, лейтенанта-испанца. И еще приказал лейтенант вздернуть вместе с ними на веревку мертвое тело косолапого Якоба, дабы и он, мятежник, не смог таким своим вызывающим и противоправным поступком избежать вынесенного ему законной властью приговора.

А когда заплясали, погибая от смертного удушья, тела казненных под тесовыми перекладинами, и засучили они ногами, и захрипели, испуская последний свой вздох, охнула площадь, и застонала, и завывала в отчаянии, ужасаясь столь страшному их концу. Самых лучших, самых достойных людей в деревне отправила власть на виселицу — одним махом, без всякого разбирательства и суда. И кто из них, несчастных жителей деревни, мог помешать свершиться этому черному злодейству? И кто мог защитить их, казнимых, от грозно ошестинившихся копий городской стражи, и ее мечей, и этого свирепого, равнодушного ко всему лейтенанта-испанца, для которого жизнь человеческая значила, видно, не больше, чем жизнь случайно раздавленного

комара? Сколько семей осиротело в одночасье, и в скольких домах не стало теперь хозяина... И кто будет теперь кормить эти семьи, и кто будет работать в поле, и землю пахать, и подати казенные платить? Все страхи жизни разом вдруг обрушились на жителей деревни, и не стало им защиты ниоткуда от нее, и сжались, и замерли, пораженные внезапно свалившейся на них бедою, их сердца. А из-за чего? Из-за какой-то жалкой кучки размалеванных досок, сгоревших в огне, да нескольких расколотенных в щепку языческих божков... О, Господи! Смилуйся! Где же милосердие Твое?!

Вся экзекуция заняла не больше получаса. И некоторые из согнанных на площадь уже было двинулись расходиться, крестясь и страшась даже обернуться на то, что высилось теперь у них за спиной, на том холме смерти. Но, оказалось, что и это было еще не все.

Прежде всего никому из собравшихся на площади не было дозволено уйти. А те, кто пытался самолично пробиться сквозь сжимавшее толпу кольцо солдат, были загнаны назад ударами тупых концов копий, как град, обрушившихся на них. А когда спокойствие, а вернее, мертвое оцепенение толпы было восстановлено, в гущу ее с четырех сторон по команде лейтенанта-испанца, вдруг врезались пешие стражники, выхватывая из рук матерей их завернутых в пеленки грудных детей и отрывая от их юбок другую ребятню, постарше, преимущественно тех, кому по виду нельзя было дать больше двух-трех лет. А в это время остальная стража, рассыпавшись по деревне, принялась выламывать в домах запертые на засовы двери, а где они не поддавались — то и выбивать окна, и тоже вытаскивать оттуда орущую, ревущую, упирающуюся детвору. Иные опасливые родители ведь и сами не пошли на площадь, надеясь отсидеться за наглухо закрытыми дверьми, и детей своих, чуя беду, попрятали по разным потаенным норам и щелям, где, как казалось им, нельзя их было отыскать никому. Никому! Но не Правосудию и верным слугам его.

О, какой страшный, какой истошный крик взметнулся над площадью! Обезумевшие матери, бросившись на копья, прорвали оцепившее их кольцо солдат. И не думая уже о себе, и не страшась ничего, и видя перед собой лишь отчаянно вопящих от ужаса и боли своих детей, которых волокла от них грубая солдатская рука, они кидались на стражников, и вцеплялись им в лица и в бороды, и рвали их добы-

чу у них из рук, и падали на землю, сраженные тычком кованного сапога в грудь или ударом меча плашмя по спине либо по голове. Но и сраженные, они продолжали, не переставая, кричать, и вопить, и выть утробным, звериным воем, и умолять солдат, и хватать их за ноги, за колени, за обнаженные мечи, и ползти за ними вслед. А когда солдатам удавалось, наконец, отбиться от них, то они кидались к лейтенанту-испанцу и, вцепившись в его стремяна, протягивали к нему руки, умоляя его смилостивиться и отдать им назад их неповинных ни в каких грехах детей. Но лейтенант, брезгливо морщась, лишь отталкивал их от себя и от коня носками своих сапог.

— Стоять! Приказываю стоять! За неповиновение смерть! — прогремел над площадью его гортанный, чуждый фламандскому уху голос. — Слушайте, жители деревни, приказ господина начальника городской стражи, принятый во исполнение воли его величества короля! Писец, читай!

Бледный, тоже, видно, чуть не до обморока потрясенный происходящим писец развернул дрожащими руками другой свиток и, запинаясь, зачитал:

«Приказываю: в справедливое отмщение за поругание Божественного образа Господа нашего Иисуса Христа и за новую смерть Его, Божественного младенца, от рук человеческих, совершенную по наущению дьявола жителями сей деревни и выразившуюся в кощунственном отбитии Его сияющей Главы и бросании Ее на муки и погибель в огонь, предать в означенной деревне всех младенцев мужеского и женского полу возрастом до трех лет смерти. Казнь должна быть исполнена на месте, публично и без изъятия, ибо грех сей страшный содеян всею деревнею, и отвечать за сие неслыханное во всех христианских странах и народах злодеяние должна каждая семья, независимо от того, участвовал ли кто из нее в том преступном сожжении или был лишь молчаливым свидетелем его. Родители же, укрывшие своих детей от наказания, должны быть преданы смерти вместо них. Да неповадно будет отныне никому и никогда из смертных поднимать преступную руку на Надежду и Свет мира, на Господина всему существу на земли!»

— Эй, стража! — прокричал, едва лишь писец смолк, лейтенант. — Сколько их там у вас сейчас?

— Тридцать один, ваша милость!

— Писец, а сколько их значится по переписи?

— Тридцать три до трех лет. Остальные все старше.

— Ладно! Хватит и этих. А те двое пусть вечно Бога благодарят за свое избавление... Начинай!

И пошатнулась, и зашлась в одном многоголосом отчаянном вопле толпа, увидев, как по взмаху платка лейтенанта-испанца сверкнули в воздухе стальные клинки, и как обрушились они на плачущих, рвущихся из цепких солдатских рук детей, не ведавших еще в младенчестве своем от жизни никакого зла, и как брызнула горячей струей, и полилась потоком на землю алая невинная кровь из их крохотных, дрожащих от ужаса сердец... О, Боже! Видишь ли Ты, знаешь ли Ты, что творится у Тебя на земле? И когда еще было такое в мире со времен Ирода-царя, с того скорбнопамятного в веках дня, когда по приказу его были побиты все младенцы в Вифлееме?

— Меня! Меня, офицер! Меня убей! Только не трожь сыночка моего! Не трожь крохотку мою! — кричали, рвя на себе волосы, и давясь рыданиями, и теряя сознание, матери одних.

— За что? За что, зверь, ты убил мою дочь? Ей больше трех! Ей же четыре уже! Все переврал твой проклятый писец! Перед Богом ты ответишь, мясник! — потрясали кулаками другие, наседая на лейтенанта.

— Почему моего, ваша милость? Почему его? А Анна вон стоит со своим, а ему и трех нет! Он только с виду такой здоровенный у нее. А Мария опять запрятала своего, а он еще только у груди пищит! — зывали к справедливости третьи.

Но тщетны были мольбы потерявших рассудок от горя матерей. И не мог никто из отцов убиваемых на их глазах младенцев даже пальцем пошевелить, чтобы спасти дитя свое от смерти, ибо каждому из них упиралось в грудь острие копья и над каждым нависал обнаженный солдатский меч, готовый без пощады раскроить череп всякому, кто осмелился бы сделать хотя бы шаг вперед. И стояли они, отцы, неподвижно, задыхаясь от бессилия и сжимая свои пудовые, натруженные тяжелой работой кулаки. И смотрели, как обливаясь кровью, корчатся, пищат, скребут своими ручонками землю их умирающие дети, пронзенные мечом или проткнутые насквозь копьем. И седели непокрытые головы их прямо на глазах у людей. А стража, опьяненная смертью, вновь и вновь вонзала свои клинки в кровавое, стонущее, шевелящееся месиво у нее под ногами, добывая еще живых.

Наконец, резня кончилась. В последний раз взлетело на острие меча в воздух чье-то маленькое тельце в окровавленных пеленках, в последний раз взметнулось вверх и тут же опустилось вниз древко копья, припечатав к земле кого-то из все еще копошащихся там, внизу. И настала вокруг мертвая тишина. Солдаты отерли свои клинки об изрубленное в клочья тряпье, что еще минуту назад было одеждой этих детей, и спрятали их в ножны. Писец засунул за пазуху свиток, который он все время держал в трясущихся руках, пока длилась казнь. А лейтенант-испанец, стронув, наконец, с места своего коня, выехал на середину площади, а выехав, сказал, обращаясь к поникшей, оглушенной неслыханной бедой толпе:

— Приказываю вам, жителям деревни, похоронить всех казненных — и взрослых, и детей — по-христиански, с соблюдением всех обычаев, освященных Матерью нашей, Святой Католической Церковью. А соблюсти обычаи вам поможет святой отец, благочестивый монах ордена доминиканцев, присланный вам в утешение и наставление архиепископом Брюссельским. А вашего священника, по указанию Святого Престола и коллеги святой инквизиции, мы забираем с собой, ибо он своим недоносительством о ваших преступных деяниях впал в тяжкий грех и ересь, несовместимые с его саном, и стал по существу вашим пособником. За что и должен понести соответствующее церковному чину наказание.

— А имущество? — вдруг раздался из толпы тихий, но ясно слышимый в царившем над площадью безмолвием голос.

— Что — имущество? — не понял лейтенант.

— А имущество казненных как? В казну пойдет, ваша милость, или прямым наследникам? Или дозволено будет поделить его? Бунтовали-то не все...

— Имущество? — задумался на мгновение лейтенант. — У меня нет никаких указаний на счет имущества. Писец! Можёт, в приказе они есть, а ты не прочел?

— Нет, ваша милость. И в приказе о том ничего нет. В приказе только сказано, что надлежит действовать по обстоятельствам.

— Нет? Тогда слушайте, жители деревни, мой приказ! В тех семьях, где имеются прямые бесспорные наследники, все имущество казненных переходит к ним. А то имущество, у которого прямых наследников не окажется, надлежит продать, а на вырученные средства восстановить благоле-

ние порушенного вами храма. И никаким частным лицам на то выморочное имущество отнюдь не посягать! Под страхом строжайшего наказания... Все! Эй, стража! Построиться походным порядком! Да не забудьте старого кюре. За него с нас с вами голову снимут, если что...

Опустела площадь. Ушла пешая стража, поблескивая в лучах заходящего солнца стальными остриями вскинутых на плечо копий. Уехал, дав волю своим застоявшимся коням, и конный отряд во главе с лейтенантом-испанцем и неотлучно следовавшим за ним городовым писцом. Увезли в реквизированной у кого-то в хозяйстве телеге и старого кюре, бросив в нее дряхлости его ради охапку соломы и приставив к нему двух конных стражников. И остались жители деревни со своим горем одни.

Печальное зрелище представляла собой эта деревня, когда покинул ее последний солдат! Воистину апофеоз смерти, воистину, как после Страшного суда Господа нашего Иисуса Христа над миром. Будто ничего бедные жители ее и не заслужили у Него, Всемогущего, кроме слез, и скорби, и адских, превышающих меру человеческих мук.

Багряно-красным светом светил из-за леса закат, и чернели над крышами осиротевших домов печные трубы, и металось в закатном небе и хрипло каркало, рассевшись на голых ветвях, воронье, уже слетевшееся на пир. А на холме, видимые отовсюду, торчали шесть выстроившихся в ряд виселиц, и болтались на них, и кружились вокруг себя раскачиваемые ветром трупы повешенных — Безумной Греты и пятнадцати несчастных сообщников ее. А посреди деревни дымилась кровью гряда крохотных, еще не остывших от жизни детских тел, и матери их, не помня себя от горя, копошились в этой гряде, отыскивая каждая своего, и сидели тут же рядом на земле, баюкая их в коленях и оттирая с их маленьких, сморщенных лиц, застывших в последнем крике, смертный пот.

А деревенские собаки, дождавшись своего часа, подходили к этой гряде и, не боясь людей, лизали еще не успевшую впитаться в землю кровь.

VI

Пришла зима. Ударили морозы, и на поля выпал снег. Замерзла грязь на дорогах, замерзла и вода в каналах и

прудах. По скованным стужей, обезлюдевшим улицам и площадям Брюсселя редкие прохожие передвигались теперь преимущественно не шагом, а торопливой рысцой, кутаясь во что попало и мечтая лишь о том, как бы побыстрее добежать до дома и спрятаться в тепло.

И Питер Брейгель, старшина гильдии живописцев, тоже теперь почти не покидал своего добротного, стойко хранившего печное тепло дома, и никуда уже больше не исчезал по утрам, а предпочитал, устроившись в кресле и завернувшись в свой старый, протертый во многих местах халат, дремать у жарко натопленной печки или же, рассеянно глядя в огонь, предаваться бесконечным своим размышлениям о жизни, о Боге, о судьбе и о тех, кто когда-то был рядом с ним, но кого уже нет и больше не будет никогда. Работать, писать ему в такую пору не хотелось и не хотелось тратить время и силы на своих шумных, бестолковых учеников, а хотелось сидеть так и сидеть в кресле до окончания дней своих, лишь бы только никто не тревожил его и не приставал.

Но больше всего он думал, конечно, о Катарине. Где она теперь? Что с ней? Виселицы-то ей, в отличие от несчастного отца ее и братьев, слава Богу, удалось избежать, хотя, несомненно, попадись она тогда в руки стражи, болтаться бы и ей на перекладине с ними заодно: ведь крест над кучей пепла от сгоревших в костре идолов они ставили вчетвером! И если уж кто-то из деревни (А кто? Может быть, трактирщик? Или кто другой?) так точно, поименно, донес властям о зачинщиках мятежа, вряд ли бы доносчик умолчал о ней. Видно, спасло ее то, что после свадьбы она переселилась в дом мужа, в деревню по другую сторону канала, а той деревни либо вообще не было в приказе, либо лейтенант-испанец просто не решился никого туда послать, чтобы не ослаблять свой отряд, которому и без того едва хватило сил, чтобы удержать в повиновении такое множество потерявших от горя рассудок и готовых на все людей.

Рухнула его, Питера, жизнь! И нет в ней больше Катарини. А значит, и нет того, что отличает только разгорающееся, полное силы пламя от уже пожравшего все в себе, умирающего костра. Рухнула жизнь! И наступила старость, а скоро придет и смерть. Незачем было обманывать себя: в том, что она близка, сомнений уже быть не могло — достаточно было лишь прислушаться к глухой, сосущей боли в боку, что не отпускала его теперь уже ни днем, ни по ночам.

Но что он, Питер Брейгель, мог сделать, чтобы не дать этому пламени умереть? Чтобы сохранить свою Катарину, удержать ее подле себя? И было ли за что ему обвинять себя, раздирая свою душу в кровь? Что он-то мог сделать — он, мирный, стареющий живописец, никогда ни в чем не связывавшийся с властями? Он, всегдашний свидетель и наблюдатель жизни, но не участник ее? Мог ли он тогда остановить безумие толпы, громившей храм? И мог ли он потом остановить карающий меч правосудия, обрушившийся на эту несчастную деревню? А, кто бы послушал его! Грета, Йост, косолапый Якоб, Гретины молодцы? Как бы не так! И кто бы откликнулся, кто бы снизошел к его мольбам пощадить невинных? Солдаты, лейтенант-испанец, герцог Альба, тайный Государственный Совет? О, Господи! Воистину, вожди слепые, ведущие слепых... И нет ничего людям от их вождей, кроме мук, и слез, и гибели и в этом мире, и в том. И сами они гибнут в гордыне и жалком тщеславии своем, в упоении властью над толпой. И других, послушных их зову, обрекают на вечные страдания и казнь. А имя им, этим другим — легион! И неважно, кто они, идущие за вождем: мирный ли хлебопашец, или почтенный бюргер, или закованный в стальные латы солдат.

И разгорались во мраке комнаты, освященной лишь огнем из печи, пред взором его видения: зарево пожарищ, полыхающих в багровом, зловещем небе над холмами, над колокольнями, над остроконечными крышами домов, и черные птицы, с тревожным криком мечущиеся в дыму, и столбы для колесованья, и виселицы, и скелеты повешенных, раскачивающиеся на ветру, и лужи крови, и горы мертвых тел, и худые собаки, рыщущие среди трупов и пожирающие их мясо, и вылизывающие их кровь, и толпы восставших из могил мертвецов с провалившимися глазницами и оскаленными ртами, волна за волною, в ряд, марширующих по дорогам и пустым площадям, гремя костями. А во главе их в латах и солдатском шлеме — Безумная Грета, размахивающая кочергою, как косой! И это и есть апофеоз смерти. И Безумная Грета и есть сама смерть.

А вокруг нее — вся нечисть ада! Все уроды, и страшилища, и гады преисподней, радующиеся несметной поживе, и раздирающие свои алчные, ненасытные пасти, готовые проглотить все, что жило и страдало на земле, и изгибающиеся, и сверкающие в кровавых отблесках огня своей зеленой чешуей, и бьющие в нетерпении оземь своими тугими хвостами, и изрыгающие вокруг себя яд. И, значит, и там, за гро-

бом, не будет человеку избавленья! И там его не ждет ничего, кроме горя, и слез, и стенаний, и вечных мук...

Но не такой, не страшной, а мирной и успокоенной предстала перед ним деревня, где когда-то жила его Катарина, когда, преодолев себя, он в один холодный, сияющий белизной день решился, наконец, навестить ее. Все было на месте: тот старый, полуразвалившийся амбар, и гостеприимный трактир на площади, и церковь, где когда-то венчалась она. И не было ни на улицах, ни на деревенской площади никаких следов смерти и разрушения. И не было неумолчного плача, и стога, и причитаний по погибшим. А были лишь тишина и спокойствие вокруг, и чистый снег на крышах, и голые, иззябшие ветви деревьев, и низкое красное солнце меж них, и дымок из печных труб, и синий лед на пруду, и вмерзшие в него полурассохшиеся бочки, и корзины, и другой разный брошенный хлам, и остановившееся мельничное колесо у запруды, и скрип полозьев по снегу, и запах пекущихся по домам оладьев, и многое-многое другое, чем от века полна человеческая жизнь.

А из-за церкви, по склону покрытого голым лесом холма навстречу ему спускались, увязая в снегу, двое охотников, окруженные стаей худых, поджарых псов, и на плечах у них торчали длинные черные копыя, а за спиной висело по убитому зайцу, и псы подпрыгивали, и скулили, и повизгивали на ходу, чуя скорую себе награду. А в домах из-за распахнутых ставень мирно поблескивали в низких лучах солнца чисто вымытые стекла, и стояли горшки с геранью на подоконниках, и кое-где хозяйки, не боясь застудить свое жилье, выметали веником за порог и со ступенек вниз домашний сор, и скликали кур, и перебрасывались друг с другом словечком. И кто-то, сгорбившись и съезжившись от холода, ехал куда-то по улице на осле, а кто-то тащил на салазках бочку по скованному льдом пруду, а кто-то волок на спине вязанку дров. А на пруду гонялись на коньках взапуски ребяташки, крича, и падая, и разбивая себе в кровь носы.

Но одного не видел Питер вокруг себя: не видел он даже проблеска улыбки ни на лицах взрослых, ни на угрюмых, тупо сосредоточенных на чем-то своем лицах детей. И не услышал он ни смеха, ни даже громкого голоса в этой деревне. Нигде — ни на улицах, ни из распахнутых дверей домов.

А виселицы на холме у старой башни исчезли. Все, кроме одной — той, на которой повесили Безумную Грету.

Это стояла! А на перекладине ее, как и тогда, подпрыгивала, и вертелась в разные стороны, и стрекотала трескучим своим стрекотом сорока. Она? Та самая? Может, и она. Ах, летела бы ты отсюда, проклятая тварь, куда подальше! Что надо тебе здесь от людей? Не мучь ты их, не тревожь! Видишь, жизнь их опять улеглась, опять устоялась, и скоро опять пойдет снег, и еще больше все забудется и превратиться в далекий, мутный сон. И не напоминай ты людям про их горе! Я-то понимаю тебя. Но, поверь, попусту весь твой стрекот, и не нужен он здесь никому. И я здесь никому не нужен — думаешь, я не понимаю этого? А ты лети, куда знаешь — мир велик! А если ты не отсюда, если ты из другого мира, так и того лучше — возвращайся поскорей к себе, у вас там свои дела, вам там много о чем есть хлопотать. Все равно тебе здесь никого не пробудить и ничего не изменить. Слышишь? Никого и ничего!

Постоял он в том амбаре, посмотрел в последний раз на столь милое сердцу их с Катарининой убежище: на кучу перепрелой упряжки, подернутую седой изморозью, на паутину, затянувшую крохотное оконце, на прошлогоднюю соломку рядом с растрескавшейся бочкой в углу... Постучался он и к той старухе, что привечала их у себя прошлой зимой. Старуха, давно покинутая и Богом, и людьми, явно обрадовалась ему. А когда вдобавок ко всему еще и получила свои обычные полфлорина, то даже заставила его присесть за стол, и принесла кувшин холодного молока, и солонку, и кусок хлеба, и долго потом не хотела его отпустить.

— А что теперь Катарина? Что слышно про нее, старая? — спросил он у нее.

— А далеко, милый человек! Далекое она теперь... Люди говорят — где-то на островах. В тот день, как пришла беда, убежала она отсюда, в чем была. И мужик ее, известное дело, с ней. А слышно, хорошо живут! Там, говорят, и испанцев-то нет никого. Им туда далеко, они все больше здесь толкуются, народ страшают... Не выдал, помиловал ее Господь! А старый Йост вот не уберется. И сыновей не убе-рег...

— А кюре?

— А кюре, говорят, помер. В тюрьме, в монастыре. Там, говорят, его и схоронили... Царство ему Небесное! Добрый был человек. Добрый священник... Всех тут крестил. Всех и на тот свет проводил...

— А в церкви теперь кто служит? Тот монах?

- Нет, того убрали. Нового прислали.
- А к нему ходят люди?
- Да как тебе сказать... Кто ходит. А кто и нет.
- А он что?
- А ничего! Вроде пока и не неволит никого...

Сгущались зимние сумерки, когда усталый и промерзший до костей Питер вернулся к себе домой, в город. Ужинать он не стал, но от стакана горячено вина с имбирем и корицей не отказался, и даже потребовал у жены еще один, и выглотал, обжигаясь, и его. А когда озноб наконец прошел и тепло от вина разлилось по жилам, он, облачившись в свой старый халат, взял со стола большой подсвечник и поднялся в мастерскую. Там, наверху, тоже было кресло, и тоже стояла круглая изразцовая печь, и там была тишина, и там было тепло, и никому — ни жене, ни детям, ни горластым его ученикам — там его было не достать.

— Почему? — думал он, утонув с головой в кресло и вглядываясь в дымное, зыбкое колыхание теней по стенам мастерской, отбрасываемых неверным светом свечи. — Почему всегда и везде у людей вождь — это Безумная Грета, как бы ни звали ее и в какие бы одежды она ни рядилась? Это может быть полководец, или горлопан на площади, или какой-нибудь аскет с горящими от возбуждения и ненависти ко всему миру глазами, или просто паяц, обманщик, замороживший своими трюками глазающую на него, разинув рот, толпу. В лучшем случае — это тот слепец с властным голосом и тяжелыми, сокрушающими все кулаками, который думает, что знает, куда он ведет других слепцов, следующих за ним, а ведет он их в яму, в гибельную, чавкающую трясиину, где они если и не потонут сразу, то будут барахтаться, и проклинать судьбу, и погибать до скончания своих дней. И никого другого толпа не слышит! И никого другого она не признает.

Признала ли она Христа, что пришел к ним, к людям, с кротким увещанием? Нет, не признала — она просто не заметила Его. И даже тогда, когда Он, обливаясь кровью и вздрагивая под ударами бичей, тащил свой смертный крест на Голгофу — и тогда хозяйки со своими корзинами спешили мимо Него на рынок, а дети гоняли обруч, а отцы семейств равнодушно глядели Ему вслед, обсуждая цены на овес и ругая очередного сборщика податей. А когда Икар, давший людям крылья, упал, опаленный солнцем, в море, оторвал ли хоть один человек во всем мире голову свою от

земли? Заметил ли хоть кто-нибудь его? Отозвался ли на этот всплеск, оторвался ли хоть на мгновение пахарь от плуга, прокладывавший борозду, или рыбак от своего удилица, или пастух от своих мирно пощипывавших траву овец, или моряк на корабле, починавший то и дело рвущийся, давно уже истрепавшийся под морскими ветрами такелаж? Недаром ведь говорят: «Ни один плуг не остановится, когда кто-то умирает». Ну, а раз так, тогда не жалуйтесь, люди, на свои беды, на жестокость и невыносимость жизни. Нет у вас права жаловаться ни на что!

Ну, а ты? Что ты, старшина гильдии живописцев, мастер, как никто, наверное, из живущих ныне во Фландрии, овладевший своим божественным ремеслом? Каково твое место среди этой толпы, ведомой неизвестно куда самоуверенными, чуждыми сомнениями и жалости к людям слепцам? Кто ты-то в этом мире — жертва или вождь?

Ах, не знаю! Оставьте от меня! Не знаю я ничего... Не было у него, Питера Брейгеля, схоронившегося от всех скорбей и несчастий мира у себя на чердаке, ответа на этот вопрос. И тем не менее, повинаясь какому-то неясному толчку души, он вдруг встал со своего кресла и, светя себе свечой, подошел к мольберту, стоявшему у стены. Кто знает, может быть, это и был его ответ? А может быть, и нет. Но одно, по крайней мере, он точно знал: он знал, что напишет сейчас. А больше никак, ни на каком другом языке он, живописец милостью Божией, ни с Богом, ни с людьми, ни даже с самим собой разговаривать не умел. Не умел и не хотел.

И вскоре на темной, проморенной морем доске возникли перед ним полукруглые своды одинокого окна в толще старой крепостной стены, а за окном устье могучей реки, залитое расплавленным полуденным солнцем, и паруса, и мачты кораблей, и остроконечные дома, и высокие шпили церковных колоколен, и птицы в небе, и весь Божий мир, полный света, и воздуха, и воли, и простора для всех, кем населил его Господь. Для всех? Может быть, и для всех. Но только не для маленькой, сгорбившейся обезьянки, прикованной цепью к вделанному в подоконник железному кольцу, что, прижав свои лапки к мохнатой груди, понуро уставилась на разбросанную перед ней по подоконнику ореховую скорлупу, в которую ей давно уже, наверное, надоело играть и которую даже видеть ей, и то уже было невмочь.

А глядеть в окно — к чему ей глядеть в окно? Что может она увидеть там? И что может сказать ей этот простирающийся за окном вширь и вдаль огромный мир — ей, сидящей на цепи?

— Но нет! Так нельзя, — отбросил вдруг кисть Питер. — Ведь есть же в жизни надежда! Ведь есть же еще что-то в ней, кроме цепей, и тоски, и пустой ореховой скорлупы... Надежда? А какая она?

И, вновь взмахнув кистью, он быстрыми-быстрыми мазками набросал рядом с сидящей на окне обязынкой другую, такую же понурую и съжившуюся, и тоже на цепи. Вот и вся надежда, господа! Не обольщайтесь: не более того.

1991